

# ДЕМОНТАЖ

АРЕН ВАНЯН

РОМАН



18+

Арен Ванян

**Демонтаж**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2023

УДК 821.161.1-3  
ББК 84.3(2=411.2)6-4

**Ванян А. В.**

Демонтаж / А. В. Ванян — «Издательство Ивана Лимбаха», 2023

ISBN 978-5-89059-511-9

В центре сюжета – молодая семья: филолог Седа и архитектор Саркис. В апреле 1991 года они с надеждой встречают начало новой жизни – рождение независимой Армении. Но поскольку продолжаются карабахская война, начавшаяся в 1989-м, и экономическая блокада, семья сталкивается с испытаниями: голодом, политической разрухой, потерей близких. Десятилетие независимости оборачивается кошмаром. Они предают друг друга, совершают ошибки, уезжают в разные страны. В последний раз выжившие члены семьи соберутся вместе спустя 20 лет, чтобы подвести черту под прошлым. Арен Ванян (р. 1992) – литературный критик, независимый исследователь. Публиковался в журналах («Волга», «Знамя») и в медиа («Горький», «НОЖ», «Правила жизни», «Прочтение»). Жил в Москве, сейчас – между Ереваном и Дрезденом. Ведет телеграм-канал «Арен и книги».

УДК 821.161.1-3  
ББК 84.3(2=411.2)6-4

ISBN 978-5-89059-511-9

© Ванян А. В., 2023  
© Издательство Ивана Лимбаха, 2023

# Содержание

1	8
2	13
3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Арен Ванян Демонтаж

© Арен Ванян, 2023

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2023

© Издательство Ивана Лимбаха, 2023

\* \* \*

АРЕН ВАНЯН

# ДЕМОНТАЖ

роман



Издательство Ивана Лимбаха  
Санкт-Петербург | 2023

*Маше,*

*Родителям*

*Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.*  
**Уильям Фолкнер**

# 1

Нина держала Седу за локоть и умоляла ее вернуться домой. Они стояли в гуще многотысячной толпы на площади Республики. За их спинами находился Музей истории, и Нина с надеждой оглядывалась на него, словно хотела там укрыться. Шел апрель девяносто первого года. Разгневанная толпа жаждала демонтировать статую Ленина, которая возвышалась над их головами.

Когда слышались выкрики, Нина съеживалась. «Седа, вокруг одни мужчины, – говорила она, трусливо сжимая ее руку. – Седа, прошу тебя...» Но Седа была занята: объясняла приземистому старику, почему Ленин не имеет отношения к их истории. Старик возражал, что она слишком молода и не понимает, что снос памятника ничего не изменит, и вообще, почему она, женщина, да еще в положении, здесь, а не дома? На это Седа отвечала, спокойно и безоговорочно: «Потому что это мой долг».

Нину не покидало тяжелое чувство. Она словно присутствовала на публичной казни. Страх усилился, когда кто-то вскрикнул, указав на подъемный кран. Нина еще раз, уже сильнее, дернула Седу за руку. Седа не реагировала.

Голова Ленина оторвалась от туловища. Из нее хлынула жидкость, мутная дождевая вода. Люди замерли, словно только сейчас осознали, что натворили. Многотысячная толпа глядела на полую голову, повисшую в воздухе, истекавшую мутью. Голову медленно опустили на землю, и с места, откуда Седа и Нина смотрели, открылась надпись «Армения». Толпа тут же победоносно взревела, словно рухнула тюрьма или пали оковы. Надпись была всего-навсего названием гостиницы, но для толпы это не имело значения. Людям хотелось еще. Под их радостный вопль обезглавленного Ленина уложили у подножия постамента и повезли с площади. Уверенные, что он никогда больше к ним не вернется, они осыпали его монетами и руганью, били его, плевали ему в ноги и смеясь провожали в преисподнюю.

Не успела наступить тишина, как один из митингующих подхватил мегафон и предложил двинуться к зданию Оперы. После недолгих переговоров, не придумав ничего лучше, люди послушно двинулись в сторону Театральной площади. «Седа, идем же домой, нас ждут», – взмолилась Нина. Седа согласно кивнула, но в тот же миг увидела знакомого. Она потянулась к нему, коснулась плеча, и мужчина обернулся – это был Манвел, ее одноклассник из Пушкинской школы, которого она давно не видела. Они обменялись поцелуями, и Седа, держа его за плечо, чтобы их не расцепила толпа, спросила, как он поживает, и сразу добавила: «Приходи вечером к нам, будут проводы друзей на фронт. Профессор тоже придет». Манвел засомневался, но все-таки поддался старому чувству, согласился, по-дружески сжал ее ладонь – и отпустил. Толпа тут же подхватила его и унесла с собой. Седа смотрела ему и уходящим людям вслед; ее тянуло за ними, словно там, куда они ушли, кипела настоящая жизнь. Ее руку еще крепче стиснула, напоминая о себе, Нина. Седа наконец уступила ей.

В молчании они ушли с площади, спустились по улице Абовяна, прошли квартал, свернули под потрескавшуюся арку и вошли в людный двор. Во дворе все было так, словно история шла своим чередом, а люди здесь жили своей жизнью: под широкими кронами акаций играли в нарды четыре старика, на проезжую часть выбегали за мячом дети, матери с балконов кричали на детей и на соседа, снова пригнавшего во двор автомобиль, сосед добродушно кричал им в ответ, а старики молча наблюдали за всеми и продолжали бросать кости.

За спинами стариков стоял ветхий двухэтажный дом из черного камня, возведенный еще до грандиозной реконструкции Таманяна<sup>1</sup>. Когда-то это был доходный дом, целиком принад-

---

<sup>1</sup> Александр Таманян (1878–1936) – армянский архитектор и автор первого генплана Еревана (1924). Под началом Таманяна Ереван – древний, но провинциальный город – был практически полностью перестроен в современную по тем временам

лежавший прадедушке Седа, выходцу из Карса, княжескому купцу Порсаму Буртчиняну. Из-за причастности к дашнакской партии<sup>2</sup> его репрессировали еще в ленинские годы, а в бывший доходный дом вселили большевиков-пролетариев и беженцев-крестьян из Западной Армении. До самой смерти Порсама семья жила в Тбилиси, но затем была вынуждена переехать в Ереван, в одну из квартир в своем бывшем доме. Правда, пожилы они в ней недолго. В тридцать седьмом году за антисоветские разговоры арестовали и отправили в лагеря сына Порсама, дедушку Седа, и семью выселили. В пятьдесят седьмом году дедушка вернулся, и они получили обратно квартиру в доме на Абовяна, но по семейным причинам возвращение пришлось отложить еще на тридцать лет. Так на протяжении почти полувека последние из Буртчинянов скитались по чужим квартирам и домам. На заре горбачевской перестройки, закрыв глаза на горе, причиненное государством ее семье, Седа Буртчинян вселилась в фамильный дом, чтобы подарить ему новую жизнь.

Седа бросила взгляд на окно своей квартиры, откуда струился сигаретный дым, и ушла к тете Ануш, пожилой соседке, забрать своего четырехлетнего сына Амбо, за которым Ануш присматривала. Нина же поднялась напрямик в их квартиру и, отворив дверь, прислушалась к доносившимся мужским голосам. Стараясь не привлечь внимания, она замерла на пороге кухни и приложила к губам палец, когда Сако, ее брат, заметил ее. Он сидел, вальяжно развалившись, у плиты и приглядывала за кастрюлей, из которой поднимался пар от хашламы. Рядом с ним сидел, попивая сурдж<sup>3</sup>, молчаливый коренастый Рубо. А перед ними – спиной к Нине – стоял Петро и театрално размахивал тощими руками. «Идет, значит, мужик, – говорил он, изображая шагающего человека. – Идет себе и видит большую яму, полную дерьма. И в этой яме стоит человек, стоит в дерьме по самый подбородок, и ему прямо тяжело, говно чуть ли не в ноздри лезет, он задыхается и еле держится на ногах. Мужик останавливается, озадаченно смотрит и тянет руку, чтобы вытащить его. Но человек в яме отнекивается. Мужик не понимает, снова тянет руку, чтобы вытащить утопающего в дерьме, а тот опять не подает руки. И он опять тянет руку, и опять утопающий не принимает помощь. „Да в чем дело, – удивляется мужик, – я же помочь хочу!“ – „Да как ты не понимаешь! – выкрикивает тонуший в дерьме. – Я здесь живу!“» Сако хлопнул кулаком по колену, залившись смехом, а Рубо весело сощурил глаза. «Вот где мы жили семьдесят лет и откуда боимся выбраться», – подытожил Петро. Нина вошла в кухню. Петро развернулся и тотчас принялся извиняться. Нина в ответ рассмеялась, направилась к плите, стала готовиться к наплыву гостей; и тогда же переглянулась с Рубо, который – она чувствовала – давно засматривался на нее. В ту же минуту в комнату влетела Седа, держа на руках малыша Амбо. Она поздоровалась со всеми сразу и оценивающе осмотрела каждого с ног до головы. «Значит, на фронт собрались? – усмехнулась она и как бы не веря потрясла головой. – Идемте в гостиную, патриоты, поможете перетащить стол».

К вечеру в их квартиру набились гости: одногруппники Сако, друзья Петро и Рубо, дюжина разношерстных знакомых Седа, от пожилого профессора истории Тер-Матевосяна до молчаливого драматурга Манвела, с которым Седа встретила на площади. Их связывали особые отношения: они не только окончили одну и ту же школу, но и долгое время потом вместе находились под крылом Тер-Матевосяна в Ереванском университете, пока Манвел не принял решение уйти в монастырь. Седа встречала всех и представляла друг другу, а следом вниманием пришедших завладевал разговорчивый Петро, за которым давно закрепилось про-

столицу. Источником вдохновения Тамаяна была градостроительная концепция город-сад британского мыслителя Эбенезера Говарда.

<sup>2</sup> «Дашнакцупюн» («Федерация», *арм.*) – армянская революционная партия. Возникла в 1890 г. в Тифлисе, добивалась автономности Армении на территории Османской, а затем – Российской империи. С июня 1918 г. по декабрь 1920 г. партия возглавляла правительство Первой Республики Армения. После вторжения Красной армии и оккупации территории Армении (конец ноября 1920 – апрель 1921) деятельность партии была запрещена, а ее лидеры репрессированы или вынуждены отправиться в изгнание.

<sup>3</sup> Кофе (*арм.*).

звизище Громкоговоритель. Пока дети носились, как чертенята, по дому, бегали за новой бутылкой в лавку старика Артака или за стулом к соседке Ануш, взрослые без умолку говорили – о Ленине, Арцахе<sup>4</sup>, Черном январе<sup>5</sup>, Москве, Горбачеве, возможном референдуме – и заодно поднимали очередной тост за независимость или воссоединение. Нина тем временем присматривала за столом: вслед за хашламой добавила кастрюлю с шашлыком из свиных ребрышек, тарелку с петрушкой, луком и козьим сыром, блюдо с инжиром, сливами и абрикосами, а когда заговорили о сурдже и чае – поднос с медовой пахлавой, гатой с мацони и наполеоном с кислой вишней. Сако поймал сестру за руку и сделал умоляющий жест, прося ее усесться со всеми за стол. «Ну сколько можно, сколько можно! – наигранно гремел он. – В конце концов, неси лучше вино!» – «А еще лучше, – сказал профессор Тер-Матевосян, – садись, Нина-джан». Нина под общие просьбы послушно села рядом с братом, прислушалась к разговорам и выверенно добавила две-три политически заостренные фразы, услышанные от Седы. Исчерпав свой запас, она затихла и выпала из общего словесного потока. Она не вслушивалась в слова окружающих, а внимательно наблюдала: с завистью – за Седой, которая уделяла внимание каждому гостю, и с грустью – за Сако, который с веселым лицом поправлял сползавшие очки; он пересел за пианино и собирался что-то сыграть, но постоянно прерывался, подливая себе и остальным деревенского вина. «Опять перебрал», – подумала Нина, и ее взгляд скользнул на другой конец стола, на Рубо, сидевшего отстраненно, скрестив руки. Она заметила шрам у него на лбу; в настороженном взгляде ей мерещилось то ли безразличие к происходящему, то ли недоверие; она не могла разобрать.

Речь снова зашла о событиях на площади, и Петро поднялся с бокалом и сигаретой и во весь голос загорланил о национальном возрождении и дальнейших необратимых переменах. Он в очередной раз громогласно объявил, что Армения отсоединяется наконец от богомерзких коммунистов, от лицемерного имперского покровительства, что теперь армянский народ прислушается не к чужакам, а к родной интеллигенции, поверит в нее, последует за ней, и вот-вот они, народ и интеллигенция, одно нерушимое целое, возвысят голос и вернут свои земли, воссоединятся, станут прежней Великой Арменией, которая сможет сама за себя постоять и больше никому никогда не уступит ни клочка земли. Все заворуженно слушали Петро, пока он, устремив горящие глаза в пустоту, не воскликнул: «Мы отомстим! Мы им обязательно отомстим!» Нина, Сако и Седа, как и почти все собравшиеся в квартире, согласно и воодушевленно закивали и зазвенели рюмками и стаканами.

Только Манвел, до этого молчавший, не поддержал их. Спокойным отрезвляющим голосом он произнес: «Радоваться рано. Надо запастись терпением. Наши испытания только начинаются». На него тут же обрушился шквал негодования, и громче всех возмутился разгорячившийся Петро. «Мы мало страдали по-твоему? – выпалил он. – Мы не заслужили права на свободу?» У профессора, внимательно следившего за Манвелом, и у Седы, словно забывшей, какими важными только что казались ей слова Петро, слова Манвела вызвали сочувствие. Нине и вовсе захотелось вступить и поддержать его, но она не придумала, что сказать, и тихонько сидела, приоткрыв рот. «После всего, что случилось, – ответил Манвел, – мы должны еще усерднее трудиться. Терпеть и трудиться. Должны бодрствовать, пока нам отведено время. А иначе время накажет нас». Сако с издевкой отозвался, что кому-то, похоже, не хватило семидесяти лет социалистического труда, а один из гостей съязвил, что терпение

<sup>4</sup> Карабах (арм.).

<sup>5</sup> Черный январь – волна антиармянских погромов в Баку 12–19 января 1990 г., организованных Народным фронтом Азербайджана (НФА), и последовавший за этим ввод советских войск в Баку 19–21 января, обернувшийся убийством мирных жителей. Во время антиармянских погромов погибли около 90 человек (в том числе евреи, осетины, грузины), тысячи бакинских армян были эвакуированы властями на пароме через Каспийское море. 19 января Президиум ВС СССР принял решение установить в Баку режим чрезвычайного положения и ввести войсковые части. 19–21 января в Баку во время столкновения советских войск со сторонниками НФА погибли не менее 133 мирных жителей.

понадобится в монастыре, а не здесь, в разгар перемен. Нина снова перевела взгляд на Рубо: шрам на его лице казался еще резче; он молча подносил к губам сигарету и с прищуром глядел на Манвела, который почесывал черную бороду и глядел в пол. Спустя несколько минут, когда собравшиеся снова заговорили о национальном духе и патриотическом сознании, Манвел поднялся, поискал взглядом Седу, не нашел и, попрощавшись только с профессором, покинул квартиру.

Стоило разговору вернуться к приятным для всех национальным темам, как Сако дирижерски взмахнул рукой. Всеобщее внимание устремилось на него. Седа с опаской оглянулась на мужа – чувствовала, что сейчас он что-то вытворит. Сако прижал одну руку к сердцу, а другой – осторожно, точно не веря в отклик, – заиграл национальный гимн. Сначала все, в том числе он сам, молча прислушивались; затем гости узнали мелодию и растерялись, перепугались, что сейчас исчезнет их приподнятое настроение. Но все вышло наоборот: Сако встретился глазами с Петро, нашел в них одобрение, и они запели вместе, к ним присоединились остальные, вселяя друг в друга уверенность. Сако доиграл гимн и взмахнул рукой, рассекая воздух. Собравшиеся бросились обниматься, целоваться и заново наполнять рюмки. Они не могли поверить: *что* это они сейчас сделали, *что* это они сейчас спели. Снова, как в часы воодушевления на площади, они удивлялись тому, что это происходит с ними здесь и сейчас. Это была наивысшая точка, на которую поднялся их дух. Никто из них не думал, что это последний раз, когда они так гордятся собой, что это последний раз, когда они поют: «Родина наша, свободная, независимая».

Рубо опрокинул со всеми рюмку и потушил сигарету. Он подошел к Сако и заявил, что уходит. Сако уставился на него, поправляя очки, будто не веря, что можно уйти сейчас. Он поднялся и дошел с другом до дверей, расплескав по пути бокал, пристально взгляделся в него и настойчиво попросил писать с фронта. На прощание они крепко обнялись. «Присматривай за Петро, присматривай внимательно, – прошептал Сако, схватив Рубо за плечи и шею, а затем, помолчав, проговорил быстро и виновато: – И простите меня». Рубо было как будто все равно. Его бесцветные глаза все это время глядели на сестру друга, на Нину, которая смущенно посматривала в их сторону. Рубо задержался, будто желая сказать что-то еще, но раздумал, похлопал Сако по плечу и ушел.

Остальные гости разошлись глубокой ночью.

Седа с ребенком уже спали, Сако только ложился. Нина же за всеми убирала. Подмела в гостиной, собрала остатки еды, часть выбросила, кости вынесла дворовым собакам, а грязную посуду сложила в раковину. Поглядела с минуту на стопку и все-таки помыла ее, стараясь не шуметь. Затем ушла в гостиную и открыла форточку, чтобы проветрить. Несмотря на усталость, ее переполняла смутная надежда. Она взяла с полки сборник рассказов известного писателя, дружившего с отцом Седы, открыла на истории о буйволице, сбежавшей из села, и успела прочесть пару страниц, когда ее отвлек шум в коридоре. Она прислушалась и поняла, что это Сако бежит в туалет, а еще пару секунд спустя ясно расслышала, как его тошнит.

Нина отложила книгу, подошла к туалету, дождалась, когда брат выйдет, проводила его опечаленным взглядом и вымыла за ним унитаз. Опустошенная, она вернулась к себе, переоделась в пижаму, легла и мигом уснула. Ей приснился двор родного деревенского дома, где она жила ребенком. Была весна, теплело, и отец еще был жив, и расцветал домашний сад, где они разводили розы и хризантемы. Затем она вмиг очутилась в городе, во дворе ереванского дома Седы. Перед домом образовалась толчея людей и череда машин. Нина подошла, выглянула из-за людских спин и увидела посреди дороги буйволицу, из-за которой образовалась пробка. Никто не мог сдвинуть ее с места, она стояла, вызывая шум и смех. «Бедная, перепугалась, – подумала Нина, – оторвалась от стада, где они, а где она. Потерялась, одна, бедная, в этом сумасшедшем месте». Кто-то предложил осыпать буйволицу монетами или отрубить ей голову. Кто-то настоял на том, чтобы пойти к Театральной площади и там выяснить, что с ней

делать. Нина сначала воодушевилась, зашагала вместе со всеми, а затем страшно расстроилась, когда поняла, что оставила за спиной и родной дом, и сад с цветами, и отца с братом. Тогда же посреди людского и сигнального шума кто-то окликнул ее – это были Седа и Манвел. Они поздоровались с Ниной, держась за руки, как влюбленные подростки, и Седа представила ей Манвела, хотя Нина знала его. Но затем Манвел исчез, а вместо него возник коренастый мужчина с лицом, будто скрытым тенью. Нина хотела, но не могла разглядеть его. Седа заговорила с мужчиной о чем-то политически важном, о единении народа и интеллигенции, но Нине не хотелось говорить о политике; ей хотелось как-то незаметно шепнуть им, что в детстве ее отец говорил: «У моей дочурки – и красота, и ум, и сердце». А затем Нина открыла глаза. Встревоженным сонным рассудком она перебирала все, что приснилось, добралась до скрытого в тени лица и по ощущениям угадала, что это был Рубо. В груди что-то поднялось. «Вот оно как, – проговорила Нина про себя, не смыкая озаренных глаз, – вот оно как случается, раз – и влюбилась. Так просто, а я-то думала, что никогда больше не полюблю».

Опять послышались быстрые шаги, и донеслись звуки рвоты, громкие и продолжительные, точно Сако извергал самого себя. «Зачем так много пить, зачем», – безразлично подумала Нина и поднялась с постели, чтобы снова убрать за братом.

## 2

Через полтора года вдохновленные высоким долгом интеллигенты уже не пели патриотических песен. Теперь вдохновленные высоким долгом интеллигенты остались без работы. Нужда в архитекторах отпала, и Сако изо дня в день плутал по опустевшему Еревану в поисках молока для детей, в поисках теневого электрика, который подключил бы свет, в поисках дров, которые не дали бы окоченеть ночью. Веерные отключения газа и электричества достигли пика: в зиму девяносто второго-девяносто третьего газ и свет давали на час-полтора, не дольше. Исключениями были новогодняя ночь и похороны. Поскольку шла война за Арцах, хоронили часто – так часто, что дети носились по улицам с шутейкой: «Нам завтра свет нужен, у вас не найдется покойника?» Ирония – вторая отличительная черта армян. Первая – слепая гордость. Весь двадцатый век этот народ убеждал себя, что страдания – его удел, а унижения – его награда; но теперь, вместе с войной, к нему вернулось чувство, что нация жива. «Нет борьбы – нет и нации», – говорили, гордо задрав голову, армяне. Но отнюдь не каждый армянин задумывался в те годы, что жажда жизни требует не только смелости и твердости духа, но и ума, предусмотрительности, ответственности. Азербайджан, с которым воевали за Арцах, перекрыл поставку газа и движение по железным дорогам с востока; Турция, которая всегда поддерживала азербайджанцев, объявила о сухопутной и воздушной блокаде с запада и юга; а войны в Абхазии и Осетии отрезали Армению от северного сообщения с Россией и Грузией. Так, в очередной раз разорвав отношения с исламским миром и потеряв связь с православным, Армения оказалась в одиночестве. У нее не было ни друзей, ни тепла, ни света, ни еды.

Если Сако что-то радовало, так это фронтовые письма Петро – длинные, красочно описывающие, как армия продвигается на восток. Седа год назад родила второго мальчика, Гришу, и теперь была поглощена заботами о детях, но она не меньше Сако радовалась вестям с фронта. Изредка заходил Манвел, принося церковные свечи. В темной гостиной, заполненной мерцающими огоньками, они ютились вокруг дровяной печи, заменявшей им алтарь, и все еще говорили о текущей политике, но уже иначе, чем раньше: новыми темами стали война, безработица, повсеместная разруха. Они еще слабо представляли, что их ожидает, но не утрачивали надежду. Олицетворением этой надежды была Седа: оторванная от преподавания, от исчезнувших друзей, от любимой среды, она продолжала верить, уговаривать себя и остальных, что они все еще на пути к независимости; что, несмотря на трудности, страна все преодолет; что для народа ничего не потеряно. Ее противоположностью была Нина. Она все реже участвовала в разговорах о политике. Она все чаще предпочитала роль наблюдательницы, молча сидя в углу или присматривая за детьми. И втайне от всех она желала не свободы или отвоевания родных земель, а материального благополучия.

В двадцать три года Нина работала секретарем-переводчиком на коньячном заводе. В основном разбирала корреспонденцию на русском и английском языках. Она была человеком долга и потому старалась изо всех сил отблагодарить за приют, когда-то предложенный ей братом и Седой. В блокадную зиму сотрудникам завода разрешалось пользоваться керосинкой, и в очередной день она, выстояв очередь, разогрела обед из столовой и в спешке понесла его брату. Спустившись по заснеженной мостовой, пересекла опустевшую дорогу – не было ни автомобилей, ни трамваев, ни автобусов, миновала переулок, очищенный от торговых рядов. «Как странно, – думала она, прижав теплый обед к животу, – что улицы так оголились, рынки закрылись, притихли роддома. Еще пару лет назад отовсюду доносился людской гул, кипела жизнь, дети с рюкзаками шумели, и вот – тишина, и с каких пор и кто виноват?» Со стороны Английского парка ковылял сгорбившийся старик – несчастный, оборванный до невозможности, закутанный весь в лохмотья: на голове лохмотья, на ногах лохмотья, словно он подбирал на улице каждую рваную тряпку и накручивал ее на себя, – и тащил на детских

санках полено. «Очередной сквер рубят», – поняла Нина и, задержав дыхание – от старика понесло воню, – зашагала быстрее.

У светофора через дорогу столпились мужчины с мешками, пилами, санками. Один из них, помоложе, в распахнутой куртке, обрушился с руганью на электрика, которого сопровождали двое охранников в черных плащах. Ножницами на длинном шесте электрик живо обрезал провода, протянутые от светофора прямо в квартиру. «Режь сколько хочешь, проворному это не беда», – подумала Нина. Кому бы хоть чуточку проворности, хоть немного ловкости, так это ее бедному братцу. Она вспомнила, как Сако радовался – намеренно громко, чтобы повеселить вечно печального Амбо, – когда накануне им дали электричество. «Ур-ра!» – заразительно вопил он. Седа тогда покрутила пальцем у виска, а Нина смеялась: понимала, что если что-то и вытащит их со дна разрухи, так это надежда. «Армяне впали в язычество, – сказала Седа, – поклоняются свету». – «А я думаю, – отвечала про себя Нина, – ты не права, Седа, что насмехаешься над нами. Потому что наличие света важнее религии». Электрик обернулся к молодому парню, замахнулся на него тяжелым кулаком, чтобы отстал, и засеменял с охранниками к следующей точке. Нина снова вернулась мыслями к брату, который радоваться-то мастер, но и от ответственности отбиться тоже не промах. «Не пойду, – говорит, – электриком работать, зря, что ли, столько лет рисовал?» Нина усмехнулась, опустив веки: «Кто не трудится, тот не ест, так?»

Она прошла мимо неработающего светофора с понуро свисающими проводами, мимо мужчин, обступивших бедолагу, оставшегося без света. «Ах, двадцать долларов заплатил подонку, двадцать долларов!» – горевал тот, пока остальные поддакивали. Нина, не задерживаясь, углубилась в парк. Думала о поступке Вазгена, своего начальника, который провел себе линию «левого» света прямо от завода – конечно, тайком от руководства. Сейчас все делается тайком, все живут втихаря. Нина уже наслушалась этих историй, как ловкачи проводят «левый» свет от больниц, метро, зданий министерств. «Господи, даже от троллейбусных линий», – вспомнила она и со всей непосредственностью покачала головой. Вазген вечно позмеинному подкрадывался и, будто делая одолжение, предлагал Нине помощь с «левым» светом, а порой наглел и прямо приглашал к себе в гости. Нина отвечала угрюмым молчанием. «Написать об этом Рубо? – задумалась она, проходя мимо вереницы обрубленных деревьев. – Что он скажет?»

Если Сако и Седа радовались письмам Петро, то Нина жила письмами Рубо – тайными, о содержании которых не знал никто, кроме них двоих. Письма приходили раз в месяц, иногда реже. Первое было просто запиской, вложенной в конверт с чужим письмом. Незнакомый Нине человек навестил ее в рабочий день на заводе и передал послание. Рубо интересовался, как она поживает. Неделью Нина носила сложенную вчетверо записку в кармашке сумки. Лишь на седьмой день села за стол и написала суховатое письмо, сообщив, что «дела в порядке, все здоровы и беспокоятся за тех, кто на фронте». Отнеся записку на почту, она была уверена, что на этом их переписке конец. Но через месяц она получила второе письмо. Теперь Рубо, не вдаваясь в подробности, рассказывал, как у него дела на фронте. Нина снова не спешила с ответом. Спустя шесть дней написала сдержанное письмо со списком дел, которыми она занималась в течение дня, и каждый пункт обрывался дисциплинированной точкой ровно в том месте, где могло бы обнаружиться чувство: надежды, тоски, неудовлетворенности. Третье письмо Рубо начиналось так: «Ты спрашиваешь, какой у меня распорядок. Отвечаю: встаю в полпятого утра, завтракаю с товарищами. Завтракаем десять минут, не дольше...» Затем следовало скупое описание типичного дня армянского фидаина в добровольческом джокате<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Во время Первой карабахской войны в Армении массово формировались джокаты – партизанские отряды, проникавшие в горные районы Карабаха и армянские деревни на территории Азербайджана. Они также именовали себя «фидаинами» – арабское слово, означающее бойцов, готовых жертвовать своей жизнью ради священной борьбы. Оба термина – джокат и фидаин – были заимствованы партизанами из словаря армянских революционеров рубежа XIX–XX вв., в первую очередь

И в самом конце: «Вот сейчас заканчиваю письмо, Нина. Надеюсь, тебе было интересно. Расскажи теперь, что ты делаешь. Жду с нетерпением». Его трижды подчеркнутое «с нетерпением» пробило брешь в той стене, которой окружила себя Нина. Пять дней она размышляла, что ответить, и наконец осмелилась не обрывать себя точкой. Она слегка волновалась, когда к сухим фактам – что ели, какая погода, как дела на заводе, – добавила: «*снова* ели картошку», «погода *расстраивает*», «Эмилия (коллега) ворчит на мужа, хотя мне *не хочется* ее слушать». Рубо поддержал ее начинание: просил рассказать, почему снова картошка, что там с погодой и с коллегой. Нина набралась смелости и ответила в тот же день: объясняла, что в стране – голод, что погода – серая и слякотная, что Эмилию слушать не хочется, потому что ее муж – из новых чиновников, то есть бандит, который платит электрикам за обрывы кабелей. Зачем? Затем, чтобы бедолаги, оставшиеся без света, снова платили ему – сборщику долларовой подати – за новый «левый» свет.

Спустя год письма стали откровеннее. Нина прятала их в кожаном портфеле, оставшемся ей от отца, где держала дорогие для себя вещи. Особенно она дорожила тоненькой салатовой тетрадкой со стихами, которые сочиняла в юности. Последнее стихотворение, «Чинар в рассветный час», о боязни счастья, которую она ощутила при виде платанового деревца во дворе дома, она написала семь лет назад, за два дня до того, как Сако забрал ее из деревни. Но даже Сако не знал о стихах. Только *ему*, «воину с мальчишеским сердцем», она, подавив тревогу, осмелилась признаться. «Мой отец был учителем. Он читал нам по памяти стихи Чаренца<sup>7</sup>: „Ты видела сотни сотен ран – и увидишь опять. Ты видела иго чуждых стран – и увидишь опять...“<sup>8</sup> Благодаря отцу я полюбила поэзию». От стихов они перешли к полунамекам. Нина уже писала Рубо о своей «жажде настоящего всепоглощающего чувства», которое «оторвало бы ее от земли и вознесло к луне, к звездам, к бесконечности», «заслонило бы серую, скучную, холодную реальность». Находясь во власти незажившей сердечной раны, Нина снова, как и раньше, была готова пожертвовать всем ради любви. И Рубо, не лишенный инстинктивного слуха, верно уловил эту новую интонацию. В конце очередного письма он призывал ее к следующему шагу: «Я хочу скорее вернуться, – писал он, – и обрести свою половинку. Лежать с ней в одной постели, забыть о войне. Водить кончиками пальцев по розовым губам, по тонкой шее, по мягким плечам. Опускаться ниже, кружить пальцем, пока не зажгу огонек в ее глазах. Любить ее каждую ночь». Сколько раз Нина перечитала это письмо, впитывая слова, строки, признания? И все равно проморгала перемену, которая могла бы отрезвить ее. Она безудержно отдалась нахлынувшей любви – пока еще воображаемой, но уже такой возможной. Словно у героини американских мелодрам, ее мир раскололся на два: в одном жил ее рассудок, занятый повседневными заботами о близких, в другом – уединенном, закрытом, оторванном от реальности – жила душа, когда-то запятнанная грязью, а теперь разбуженная новой надеждой.

Сако ожидал сестру в пока еще не вырубленном сквере Шаумяна, недалеко от Министерства культуры. Очередная его вылазка к приятелю из бывших диссидентов, внезапно получившему государственную должность, прошла впустую. Новая административная шишка запомнил, как Сако с Седой передавали ему в тюрьму посылки, как провожали в мир иной его отца, как давали взятку узколобому главврачу психбольницы, чтобы избавить слишком свободно мыслящего человека от префронтальной лоботомии. Сако вспомнил очередь из таких же, как он, олухов, столпившихся у кабинета, двери которого загораживал, стоя со скрещенными у паха руками, пучеглазый охранник в черном костюме. Сако знал, что его старый друг в курсе, кто ожидает за дверью. «Если того требует демократия... И кому ты, дурак, помогал,

дашнаков.

<sup>7</sup> Егише Чаренц (1897–1937) – армянский поэт-футурист. Состоял в большевистской партии, активный сторонник Советской Армении ленинского периода. Арестован НКВД в 1937 г., умер или был убит в том же году при невыясненных обстоятельствах. Место захоронения неизвестно. Реабилитирован в 1955 г.

<sup>8</sup> Строки из стихотворения Егише Чаренца «К родине» в переводе Арсения Тарковского.

кто тебе спасибо скажет?» – горевал Сако, уперев взгляд в мокрый асфальт, когда послышались шаги. Нина шла к нему, поджав подбородок, с покрасневшим от ветра лицом. В руках у нее был газетный сверток с обедом. У Сако заныло в животе. «Ну, как прошло? – спросила Нина, поцеловав его в щеку. Она развернула сверток и, не дожидаясь ответа, примолвила: – Не тяни, ешь сразу, успеешь отнести детям. Я разделила пополам, тебе и Седе с детьми». Сако послушно кивнул и принялся за обед. В сквере стояла тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Пока Сако быстро, жадно ел, Нина снова спросила, как он сходил к другу. Ответы были короткими: да, пришел, да, ждал, да, он обещал, но нет, он не вышел. Почему? Не знаю. «Совести нет. Сколько ты для него сделал. Медленнее ешь, не спеши, – запричитала Нина. – Кто организовал похороны его отца, пока он в тюрьме сидел? А он чем ответил? Сако-джан, пожалуйста, ешь спокойно. Ты же ничего не поймешь от съеденного, если будешь так торопиться». – «Дети, – буркнул Сако и поднялся. – Надо скорее покормить детей. Ты обратно на работу?» – «Куда же еще?» Сако пожал плечами. «Не видел я его, – прибавил он. – Завтра еще одну попытку сделаю, последнюю». Нина кивнула. Они снова поцеловались и разошлись по своим делам.

Снег прекратился, но ветер не стихал. Сако, склонив голову, шагал в сторону гастронома. «А что я ему предложу? – спросил он себя. – Я никто, безработный». Из-за поворота выехал накренившийся переполненный автобус. Сако забыл, когда последний раз ездил на автомобиле, трамвае или автобусе. Он бы многое сейчас отдал, чтобы уехать куда-нибудь подальше от разрухи, хоть в деревню. В ту же секунду раздался раскатистый шум – рухнуло спиленное дерево. Следом поднялся людской гул. «Согреются собаки, да, – подумал он, не сбавляя шага. – Кто как может, так и греется». Сако вспомнил, что его сосед этажом ниже, которому он заплатил за электричество, подумывал о Калифорнии, где жили его родственники, потомки уехавших еще в двадцатые годы. Этот же сосед с интеллигентным лицом вывел ему формулу нового категорического императива: «Сако, мы живем во времена, когда нет больше „можно“ и „нельзя“, когда надо забыть про „хорошо“ и „плохо“. Это времена, когда приходится думать только о том, как прокормить ребенка». Автобус проехал мимо Сако. Снаружи за его бока цеплялись дети, внутри же толпились одни женщины и старики. Все мужчины, не обремененные семьей или старостью, уехали на фронт. Все лучшие друзья уехали. Сдержанный Рубо и энергичный Петро. Рискуют жизнью на фронте. Ради кого? Ради тех, кто прячется в кабинетах? Или тех, кто подумывает о Калифорнии? Или тех, кто слоняется по улицам без дела изо дня в день? Может, и ему надо было пойти с ними? Последние месяцы Сако часто спрашивал себя, что бы изменилось, если бы он уехал. Чувство вины не давало покоя. Иногда на ум приходила мысль, что было бы лучше, если бы все исчезло – и чувства, и друзья.

Он отгонял эту мысль, но тень ее оставалась. «Все оттого, что мне нечего делать, – сказал он себе. – Одно достойное дело могло бы все исправить». День или два назад Манвел, сидя с ним у растопленной печки, склонил голову к огню и произнес: «Прошлой ночью, чтобы не замерзнуть, чтобы отвлечь мозги от холода, я зажег свечу и стал писать. Всю ночь писал, чтобы не оледенеть». Сако нахмурился. «И не обледенел, пока писал?» – «Нет, напротив. Забыл, что за окном зима». О чем он писал, Сако не спросил – зависть заслонила все вопросы и мысли. «Конечно, – подумал он, когда издалека увидел толпу перед гастрономом, – Манвел-то один, мать умерла, вообще никого. Он-то может писать, он не обременен долгами, детьми, семьей». Люди стояли в беспорядочной очереди к дверям гастронома. Хлеб еще не подвезли. «Сколько разговоров было, что собирается в монастырь, а все никак не доедет. Да и какой монастырь, когда война».

Сако не сразу разглядел Седу. Гордая, независимая, она стояла отдельно от толпы. Ее лицо оживилось, когда она заметила его, хмурого и недовольного. Еще ни о чем не спросив, она уже поняла, что очередной день не принес новостей. Сако неуверенно, как школьник у доски, замер перед женой, отдал сверток с обедом и перевел взгляд на людей в очереди.

Он так и стоял бы, рассматривая их, если бы она не спросила, как он сходил. «На завтра перенес, – ответил Сако, стараясь придать голосу твердости. – Обещал, что завтра встретимся». – «А что еще?» – спросила Седа. – «Это все, – ответил он. – Он был занят. Мы и двух минут не проговорили». Седа не верила. «За две минуты можно было многое сказать», – отрезала она. «Он не сказал», – резко ответил Сако, стараясь подавить раздражение. Седа коснулась плеча старушки, стоявшей впереди нее, и предупредила, кивнув на Сако, что ее подменит этот человек. Женщина добродушно кивнула.

Он не глядел Седе вслед. «Катись, куда хочешь, – подумал он, давая волю злобе. – Стараюсь, шатаюсь по городу, рисуюсь перед подонками, унижаюсь, а ты обижаешься, значит, молча уходишь». Сако вспомнил об электричестве, проведенном накануне, и о том, что Седа не выказала ни радости, ни благодарности. Перебрал в уме имена и лица друзей и родственников, к которым обращался за помощью, у которых просил дров, к которым стучался в дверь, пряча за спиной кастрюлю. «Почему это случилось со мной?» – ему сделалось жалко себя. В нем накопилось слишком много жалости к себе. Кто его выслушает, кому он откроется? Он ненавидел эти вопросы, терпеть не мог эту жалость. Жалость разъедала его. Он всегда бежал от нее. Неожиданно в памяти всплыл образ Манвела, спасающегося от холода сочинительством, и Сако вспомнил собственный нереализованный проект – Музей Комитаса<sup>9</sup>. Бесформенное серо-бетонное здание, которое будто распадалось на части, но визуально уравнивалось строгим сухим орнаментом, двенадцатью графическими рисунками, повествующими о пути Комитаса: юноша, подслушивающий песни крестьян; музыкант, создавший на основе этих песен национальную литургию; безумный святой, сгинувший во французской провинции. Но главное украшение музея – то, что принесло Сако освобождение, что сделало его произведение гармоничным, дало визуальные границы рассыпающемуся, как человеческая личность, зданию, – металлические платаны, родные чинары, как бы посаженные вокруг здания, – такие же чинары незадолго до гибели сажал во дворе их дома отец. Тонкие, хрупкие деревца, которые только-только собираются расцвести, почки которых едва набухают, чтобы выпустить на свет бледно-зеленые листья. Работа над этим проектом словно освобождала Сако от собственного дикого легкомысленного нрава, принимавшего форму жалости к себе – жалости, разрушавшей его личность.

Послышался грохот грузовика. Толпа загудела, очередь мигом распалась. Милая старушка, недавно улыбавшаяся Седе, растолкала всех локтями, чтобы пробиться вперед. Грузовик остановился. За рулем сидел густоволосый паренек в дубленке. Он бегло оглядел толпу, пересчитал людей. Пока он складывал буханки в мешок, толпа проклинала – его, страну, правительство. Наконец паренек спрыгнул к людям и пробрался к гастроному. Одной рукой он крепко держал мешок с хлебом, другой рыскал в кармане в поисках ключей и затем долго ковырялся в дверном замке. Когда стало казаться, что толпа сейчас разорвет его на куски, железные двери со скрипом отворились. Паренек вбежал внутрь, быстро встал за кассу, разложил перед собой буханки и начальническим тоном приказал заново выстроиться в очередь. Люди, чувствуя запах желанного хлеба, покорно встали друг за другом в холодном пустом помещении. Сако стоял в самом хвосте очереди, в дверях гастронома.

«Почему же я не довел проект до конца?» – спросил он себя. Память не спешила с ответом. Ему пришлось вспомнить, какая погода стояла за окном в дни, когда он работал над музеем. Ему казалось, это было недавно, но нет: почти два года назад, весной, в апреле. Пока мальчишки прыгали по крышам гаражей, пока старики ворчали на перестройку, пока

---

<sup>9</sup> Комитас (1869–1935) – армянский композитор, педагог, общественный деятель. Сыграл ключевую роль в формировании новой армянской музыки. 24 апреля 1915 г. – в день официального начала геноцида армян – был арестован в Константинополе османским правительством и отправлен в ссылку. Стал свидетелем массового истребления соотечественников, из-за чего пострадал психически. В 1919 г. по ходатайству влиятельных лиц был вызволен из ссылки и отправлен на лечение во Францию. Последние 16 лет жизни провел в психиатрических больницах под Парижем.

весна оживляла улицы цветами и зеленью, Сако сидел за столом, сгорбившись над огромным чертежным листом. Здание смотрело на него, и пора было набраться храбрости и отправиться вглубь, в интерьер, в колодец души этого музея. Он слишком долго отвлекался на сторонние дела, пора было сделать этот шаг. Но в комнату вошла, как обычно не постучав, Седа и села перед ним. Сако нехотя поднял вопрошающий взгляд. Первый шаг – ворваться в комнату и отвлечь от работы – сделан. Он ожидал второго. Но Седа молчала. Это был знак, который ему пришлось толковать. По ее глазам, по тому, как несмело она оглядывала комнату, словно искала опору, точку, где можно было бы остановиться и наконец-то успокоиться, по взгляду, выражавшему не страх, но встревоженную надежду, он понял: что-то произошло. Он спросил, она ответила. Сако встал перед ней и обнял, крепко прижав к себе ее голову. А рассудок подсчитывал: да, месяц, прошел ровно месяц с той ночи. «А через восемь месяцев, – считал Сако, двигаясь теперь в очереди за хлебом, – родился Гриша». Он заново представил роддом, шумный и людный; в те годы перевозбужденные патриотизмом армяне рожали охотно, в семьях было по двое-трое детей, и они с Седой не отстали. «Как так лихо все закрутилось, господи», – подумал Сако. Воспоминания теснились в нем, разворачивая лепестки памяти: как легко, в отличие от Амбо, родился Гриша, с каким аппетитом, в отличие от брата, он ел, как быстро, в отличие от старшего, усвоил жесты и слова. В полтора года зашагал, в два заговорил. «Папа, мари», – говорил он, имея в виду «смотри», и указывал раскрытой ладонью на солнце: просил отца разделить с ним его замороженность светом. Амбо, старший, был не менее прекрасен и нежен. Сако вспомнил, как они с Амбо и Седой отправились на Севан, и Амбо упрямо хотел произнести название озера, но вместо «Севан» у него выходило «сван», а Седа, умиленная, передразнивала его английским *swan*, и, кажется, тогда они решили, что их старший сын – робкий, красивый, неуверенный – лишь по какой-то случайности родился человеком, а не лебедем. «Брат, давай же купон!» – нетерпеливо воскликнул паренек в дубленке. Сако не заметил, как очередь дошла до него. Никого больше не осталось в опустевшем гастрономе. «Ну, давай же» – повторил паренек. Растерянный, словно очнувшись от сна, Сако заморгал, захлопал по карманам и протянул смятую бумажку. Паренек схватил ее, сунул в кассу и выдал Сако половинку черствого матнакаша<sup>10</sup>. Сако вынул из кармана авоську, спрятал в нее хлеб, кивнул пареньку и вышел из гастронома. «Что теперь, домой?» – спросил он себя, и ветер обдал его лицо.

Он втянул голову в плечи и поплелся в сторону дома. Воспоминания, расцветшие в нем точно весеннее деревце, улеглись. Но в душе остался след: какая-то новая дверца, ранее невидимая, отворилась и приглашала войти. Сако уже сворачивал в сторону улицы Абовяна, когда снова спросил себя: «Так почему я не довел проект музея до конца?» «Потому что родился Гриша, – ответил разум, ступивший в темную комнату. – Потому что уже был Амбо. Потому что Седа больше не работала. Потому что Нина уже жила с нами. Потому что страна перевернулась. Потому что отключили свет. Потому что не стало газа. Потому что началась разруха. Потому что тебя вышвырнули с работы». Потребность в любви, желание обладать женским телом, беременность Седы, их ребенок, и быт, и нужда, и семья, его семья, мысли о которой крепко связывали его, словно смирительная рубашка, – все это обрекло его на жалкое существование нынешних дней. Страх перед несвободой вызвал новый вопрос: «Тогда, может, теперь, когда у тебя нет работы, ты доделаешь музей? Не важно, когда его построят, и построят ли вообще. Важно, что ты скинешь эту рубашку». Сако остановился и, набравшись смелости, прошептал: «Будешь свободен».

Сако все еще искал ответ, проходя мимо обветшалых домов старого Еревана. Его беспокойный ум столкнулся с выбором, семья или творчество. Снова, уже в который раз за день, он представил себе Манвела. Сако увидел его склонившимся к печке, к огню, и опять почув-

<sup>10</sup> Традиционный армянский хлеб, испеченный в форме толстой овальной лепешки.

становал неприязнь. Манвел казался ему человеком, который отворачивался от действительного мира и предпочитал ему вымышленный, который не впускал в свою жизнь других людей, который приближал к себе только те вещи, что не приносили пользы, вещи вроде литературы. «А разве это не то же самое, что грезить об архитектуре? – спросил Сако и остановился. – Не то же самое, что прятаться в кабинете от старых друзей? Бежать в Калифорнию?» Сако застыл рядом с ветхим домом с обледеневшим круглым окошком. «Да, – рассуждал он, – архитектура, творчество освобождают меня, я знаю это. Но семья, мои дети, может, и не дарят мне постоянную радость, но, господи, долг есть долг! Я просто не могу это объяснить». Сако всмотрелся в окошко, повторяя про себя: «Долг есть долг». И пока он нашептывал себе это, в отражении окна слабо блеснул свет, и на металлическую крышу дома слетел голубь. Сако шире открыл глаза. «Долг есть долг, – тверже повторил он. – Но долг тоже освобождает. Если буду думать о них, не будет меня, а будут только они. И если будут только они, то я наконец освобожусь от себя. Если забуду о себе, буду свободен».

С лицом человека, сделавшего самое важное открытие в жизни, он быстро, словно мальчишка, понесся к дому. «Как я раньше этого не понимал? – изумлялся он, вприпрыжку поднимаясь по улице. – Как просто все оказалось!» По пути, возбужденный открытием, он снова представил себе Манвела, к которому теперь обращался без злобы: «Да, я знаю, что творчество освобождает, но я еще знаю, что не могу жить без моего долга, моей семьи, тех, кого я люблю. Я приношу себя в жертву ради блага семьи, и это освобождает меня не меньше, чем творчество. Это освобождает меня в действительном, а не в вымышленном мире, и я не знаю, что лучше и важнее. Но я знаю, что наконец-то сделал выбор». Уже показалась старая арка, когда Сако, готовый радостно вбежать во двор, споткнулся о камень. Он чуть не упал и, слыша только свои мысли, снова удивился себе: «Нет, как я мог думать о себе, о своих желаниях, когда есть они! Это безнравственно, так просто нельзя».

А затем он вошел во двор. Толпа шумящих детей и злословящих стариков окружила милицейский автомобиль. Один из милиционеров, заполняя протокол, просил толпу умолкнуть и разойтись по домам, второй заталкивал в автомобиль Баграта – соседа Сако с первого этажа, того самого, который собирался в Калифорнию. Воодушевление мигом покинуло Сако. Инстинкт напомнил о страхе советских лет, когда милиция ходила по квартирам, раздавая повестки; затем подключился рассудок и задал более насущный вопрос: что будет со светом, оплаченным накануне?

И в ту же секунду из подвала дома вышел «человек-свет», самодовольный электрик. В одной руке он нес длинные ножницы на шесте, напоминавшие копье, в другой – груды электропроводов, красных и черных разорванных артерий. Сако прижал авоську с хлебом к груди: каждый удар сердца отдавал в голову. Его лицо исказилось: умиротворение, только что испытанное им, исчезло, уступив место прежней жалости к себе. Прилив беспомощности подталкивал Сако заговорить с соседями, с милиционерами, с интеллигентным Багратом, который уже провожал обреченным взглядом жену, детей, мечты о переезде. «Прощай, Калифорния», – говорили его невыразимо грустные глаза, когда толстобрюхие милиционеры уселись в автомобиль и завели мотор. Но Сако не таил обиду на Баграта. Тот лишь неудачно перекочевал из квантовых физиков в подпольные бизнесмены. Сако больше переживал из-за того, что уже на второй день его лишили электричества, пусть незаконно проведенного, но оплаченного из сбережений сестры. Как он посмотрит ей в глаза? Как посмотрит в глаза жене? А детям, Амбо, которому обещал, что они будут вместе смотреть «Драконий жемчуг»? Язык прилип к нёбу, стопы приросли к сырой брусчатке. Ему хотелось заерзать коленями по земле и зайтись в отчаянном крике. Ответа не было. Добрая весть оставила его. Он снова распадался на части.

Сако прошел мимо стариков и детей прямо к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. В дверях квартиры замер: внутренний голос, не отчаянно кричащий, а тихий и усталый, напомнил ему, что сейчас его ожидает то же, что вчера, то самое, от чего он хотел убежать.

«Справлюсь или нет? – подумал он. – Хватит ли воли?» Он толкнул дверь. Из гостиной выглянул Амбо, одетый в водолазку и поверх нее в свитер. «Мама дома?» – спросил Сако, и Амбо ответил, что мама у тети Татев. Сако жестом подозвал сына, поцеловал в макушку и прошел на кухню. Он машинально стукнул по выключателю, теперь бесполезному, положил половинку матнакаша на стол, достал нож, отрезал себе маленький кусок и отломил ломтик козьего сыра.

Дверь заскрипела, и послышался голос Седа. Она с порога спросила Амбо, как там Гриша, и Амбо ответил, что он все еще спит. Не снимая куртки, она вошла в кухню с газетным свертком в руках и увидела Сако. «Видал, что стряслось? – спросила она, раскрывая на столе сверток с обедом. – Наш Багра́т подался в криминальные авторитеты. А у него уже документы на всю семью в посольстве. Я была у Татевик, она в слезах, схватилась за голову, все боятся, что у нее будет припадок. Успокаивали как могли». Седа переложила сваренные баклажаны в две тарелки. Затем спросила Сако, будет ли он. Сако отмахнулся. «Я сыт», – добавил он, дожевывая хлеб с сыром. Седа наконец сбросила куртку, повесила ее на крючок у двери, проведала в гостиной спавшего Гришу, вернулась, собрав волосы на затылке, позвала Амбо к столу и села перед Сако. «Как малыш?» – спросил он. «Хорошо, – ответила Седа и посмотрела на него повеселевшим взглядом. – Знаешь, что Багра́т натворил? Устроил в подвале подпольную распределительную электростанцию. Провел линию электричества от метро. Нет, ну придумал? – Седа снова позвала Амбо, на этот раз громко и строго. – А знаешь, как нашего Эйнштейна вычислили? Помнишь, пару дней назад случилась авария на проспекте Баграмяна? Так это на станции нашего Багра́та произошло замыкание. Умник. Конечно, сейчас в метро никто не ездит, но о чем он думал? Мозги есть, а порядочность куда делась? Вот это годы, вот это времена мы застали».

Амбо шагнул на кухню, склонив голову и по-взрослому задумавшись. Седа попросила его скорее садиться, пока еда не остыла. Она подвинула к нему тарелку, отломил хлеба и налила воды. Сако наблюдал за ее лицом – волевым, сильным, в котором читалось желание жить, – и снова отвел взгляд. Что могло сломить ее? Ничего. Он мысленно успокоил себя, восстановил дыхание и обратился к ней: «Мы тоже были подключены к этой станции». – «Что?» – сразу спросила Седа, качнув головой, точно не расслышала. «Мы тоже были подключены к станции Багра́та», – повторил Сако, сосредоточенно глядя на жену, на ее руку, крепко вцепившуюся в вилку.

Амбо посмотрел на мать, избегавшую взглядом отца, и на отца, застывшего в ожидании катастрофы. Он чувствовал, что назревает что-то нехорошее. Все в его неокрепшем мире, полностью пока зависящем от старших, и тускнело от страха, и боролось со страхом, колеблясь между двумя родительскими настроениями, которые словно отражались на его лице. Буря чувств оставляла отпечаток на том, что станет его душой, – это были первые впечатления, которые в будущем, при взрослении, при столкновении с проблемами любви, признаний и отношений определяют его поступки – в том числе самые роковые из них.

«Ну, что ты так смотришь на меня?» – проронил Сако. Седа устремила на него полный презрения взгляд. Не поведя бровью, она ответила: «Готовлюсь плеснуть содержимое этой тарелки тебе в лицо». Сако замер на секунду, затем молча встал и вышел из кухни. Повисло молчание. С полминуты Седа сидела, не двигаясь, прижав свободную руку к виску. «Мама...» – протянул Амбо. Седа перевела на него рассеянный взгляд. «Все остыло, – сказала она, обращаясь к тарелке. – Ешь, пожалуйста». Амбо вернулся к обеду, но чувствовал, что мать в эту секунду еле сдерживала себя. Седа действительно всеми силами старалась сохранить достоинство. Она ответила Сако почти без эмоций, лишь с легким презрением, почти не позволив сказанному вывести ее из себя. Никто из домашних не видел ее в истерике. Чтобы Седа завyla от боли, разбила тарелку, ударила рукой о стол, и затем еще раз, и еще, и еще, пока удары не превратились бы в барабанный бой, пока не запрыгали бы тарелки и вилки, пока не задрожал бы от страха Амбо, пока не подскочил бы с места Сако, чтобы взять ее за плечи и трясти,

стараясь привести в чувство, – нет, ничего подобного с ней ни разу не случилось. Она не допускала возможности опуститься до такой пошлости. Иногда казалось, что даже смерть не сможет возмутить ее.

Седа уронила вилку и устало выдохнула. Она поднялась, собрала тарелки, сложила их в раковину. Затем, накинув на плечи шаль, вошла к Сако, который, как она знала, укрылся в спальней. Он сидел за рабочим столом и курил сигарету, опершись локтем на стол. «Сколько ты заплатил?» – спросила Седа, садясь на край кровати за его спиной. «Десять долларов», – ответил он, не поворачиваясь. «Нина в курсе?» – «Нет еще, – ответил Сако и стряхнул пепел. – Откуда ей знать?» Седа нахмурилась. «Пожалуйста, не вздумай ни с кем заговаривать об этом, – сказала она. – Не дай бог узнают, сразу донесут». – «Весь дом был с ним связан». – «Мне нет дела до всего дома. Знаешь, что будет, если эти звери узнают? – Сако молчал, но Седа знала, что он ждет продолжения. – Они придут к нам домой и будут нас шантажировать. И тогда ты, Сако, заплатишь не десять долларов, а все пятьдесят. А если не захочешь платить, то в одной камере с этим ослом окажешься, и тогда я посмотрю на вас, парочку умников». – «Седа...» – «Повернись ко мне, – Седа не дала ему договорить. – Посмотри мне в глаза». Сако повернулся и взглянул на нее отрешенным взглядом. «Другого пути не было, Сако? – спросила она, не сводя с него погрузневшие глаза. – Нельзя было по-другому? Что мы, не выживем без этого треклятого света?»

Послышался стук в дверь. Робкими шажками вошел Амбо. «Гриша проснулся», – вымолвил он. Седа ушла вслед за сыном. Сако остался за столом. Ему снова, как несколько часов назад, стало тоскливо и жалко себя. Чувства смешивались с табачным дымом, отравляли душу. Лепестки памяти, показавшие было ему путь, завяли, оставив после себя шипы. Сако позабыл об озарении, посетившем его. Как и в тот светлый апрельский день, проведенный за этим же столом, заботы заглушили в нем самое важное. Отвлекли от того, что могло спасти от смиренной рубашки. Его снова понесло по течению. Он затушил бычок в пепельнице из консервной банки и хотел уже подняться, но представил себе лицо Седы, вспомнил ее упреки, которые с каждым разом задевали все больнее, ощутил неизбывную скорбь и снова опустился на стул, закурив новую сигарету. «Что ни делаю, все прахом, – процедил он, – все не так». Ему вспомнилось, как он принес керосинку, уверенный, что Седа похвалит его. «Могли бы готовить у себя, а не попрошайничать. Но опять не понравилось: воняет, говорит, и следы копоты на стенах. Теперь провел свет, и оказывается, что прожили бы без него...» Дверь снова отворилась. Седа, держа на руках заспанного Гришку, просила его сходить за молоком. «На сегодня есть, – сказала она, пока малыш сонно глядел на отца. – На завтра не хватит. Возьми у старика Микаэля». – «Хорошо, – ответил Сако. – Схожу». – «Если получится, возьми еще дров, – добавила Седа. – И проведай, пожалуйста, моего отца, все ли у него есть?» – «Хорошо», – снова ответил Сако. «Я не знаю, чем он занят сейчас, он не отвечал на звонки... – Седа призадумалась. – Обязательно принеси только молоко, а дрова по возможности, ладно?» Сако кивнул. Он поднялся, захватил из кладовки санки Амбо и вышел из дома.

Седа вошла в гостиную и опустила Гришу в манеж. Ребенок тотчас погрузился в мир игрушек. Не то что Амбо, который встревоженным взглядом провожал мать. Седа прикрыла за собой дверь. Нужно было принести воды на вечер. Она взяла из ванной пару ведер, накинула на плечи платок и надела ботинки, вспомнила историю с электричеством и понадеялась, что все обойдется, а следом подумала, что если бы Сако слушался ее, то ничего бы не произошло. С этими мыслями Седа вышла из квартиры, прошла по холодному темному коридору, спустилась на первый этаж и увидела кусочек света в кромешной тьме подъезда. Сосед Артак веткой с подожженным концом осторожно подогревал оледеневшие канализационные трубы, чтобы, как он говорил, «не выплеснулось все это добро наружу». Седа кивнула старику, спросила, дома ли тетя Ануш, и он ответил, что дома. Седая бездетная Ануш дремала с вышивкой в руках перед неработающим телевизором. Шум разбудил ее. Она потрясла головой и,

хотя Седа просила не беспокоиться, тяжело поднялась, прошла, чуть прихрамывая, в ванную и налила ей воды до краев ведер. «Артак все греет?» – спросила Ануш. Седа кивнула. «Ну, пусть греет. Ему тоже нечем заняться». Ануш всмотрелась в рассеянное лицо Седы и спросила, все ли в порядке. «Нормально, по-старому», – не раздумывая ответила Седа. «У почты видела вашу Нину, – поделилась Ануш. – Задумчивая. Пишет кому-нибудь? Не влюбилась ли» – «Ох, Ануш-тетя, не знаю, не знаю, – ответила Седа, взяла тяжелые ведра и зашагала к дверям. – Может, кому и пишет, а о чем, что, не знаю». – «Ну понятно, понятно, – усмехнулась Ануш. – Влюбилась». – «Ох, не дай бог, – покачала головой Седа, – как мне сейчас не до этого». Она переступила порог, прошла мимо старика Артака, который все еще держал факел у труб, и поднялась к себе на второй этаж, стараясь не расплескать воду. Дома поставила ведра с водой в гостиной у печки, велела Амбо принести кастрюлю и дрова. Седа перелила воду и снова спустилась к Ануш, снова набрала воды и снова потащила полные ведра на второй этаж. Амбо уже складывал дрова у печки, а Гриша задумчиво глядел на брата, когда Седа снова вошла, перелила воду и в третий раз спустилась к Ануш. Та ждала в ванной. Седа вновь набрала воды, поблагодарила соседку и потащила казавшиеся теперь гораздо тяжелее ведра к себе. Артак все еще стоял в одиночестве с огнем во тьме. Расплескивая воду она прошла мимо. Амбо уже поставил кастрюлю с водой на растопленную печку и грелся рядом. Седа оставила последние два ведра под раковиной на кухне, вернулась в гостиную и, стянув ботинки, встала на колени рядом с сыном, склонила раскрасневшееся от усталости лицо к огню, поднесла ладони к слаботому огоньку из печи, и с облегчением выдохнула.

Седа с детства любила приятный запах горящих дров, печное тепло. Она наотрез отказывалась жечь дома керосин. Не хотела, чтобы годовалый ребенок им дышал. «Керосин, может, и хорош для обогрева и готовить на нем быстро, но запах и следы копоти повсюду – нет, это чересчур. Да и кто бы отмывал? Сако? Ох да конечно. Нина? Нет уж». Да и сама Седа тоже, конечно, нет. Она не искала новых домашних хлопот. Заботы о доме, о детях, о муже – все это было ей в тягость. Она тяжело переносила одиночество, в которое ее замуровал декрет. Ее посещал страх, что время неумолимо проходит. Она все чаще вспоминала радостное студенчество, когда у нее не было других забот, кроме квартирников и новых книг. Или перестроенные годы, когда началось движение за независимость, и она стояла на площади, в гуще толпы, осознавая себя частью чего-то большего – частью огромной волны, несущей всех в неизвестное будущее. И ради памяти о тех днях протеста, ради веры в будущее, которое оправдает невзгоды настоящего, она терпела текущее тягостное положение, свои «мытарства», как она про себя их называла. «Все это имеет смысл», – думала она, сидя перед огнем и поглядывая на Амбо, который подбрасывал в печь сухие ветки.

Седа поднялась, раздела Гришу, подхватила его на руки и пошла в ванную, окликнув Амбо, чтобы поскорее принес воду. Одной рукой она держала сына, другой доставала таз и табурет. Амбо, прежде натянув варежки, принес кастрюлю с нагретой водой и перелил в таз. Седа быстро, но старательно искупала Гришу, вытерла полотенцем, отнесла в гостиную и, укутав в два одеяла, уложила в кровать рядом с печкой. Быстро переведя дух – весь ее распорядок зависел от остывающей воды, – вернулась в ванную, сделала замечание Амбо, кривлявшемуся в варежках перед зеркалом, опустилась на табуретку и почему-то вспомнила слова Ануш о Нине и почте. Амбо стянул с себя варежки, брюки, рейтузы, свитер, водолазку, майку, забрался в таз и трусливо склонил меж коленок голову. Седа бросила думать о словах соседки, погладила сына по худой спине с выпирающими позвонками, напомнила ему, какой он силач, помогающий матери, и взяла из-под ванной ковшик. Подвинула к себе кастрюлю, где осталось чуть меньше половины воды, и, поливая ковшем, искупала сына. Амбо взрагивал, когда вода лилась ему на костлявые плечи, грудь, руки, но Седа старалась приободрить его, ласково, не без горечи спрашивая: «Кто счастлив?» И Амбо, мотая головой, отвечал: «Кто купается двумя

руками». Искупав старшего и велев ему скорее одеваться, она бросила взгляд на воду, оставшуюся в кастрюле, разделась по пояс, распустила волосы и вымыла голову.

Амбо уже сидел в гостиной, тепло одевшись и закутавшись в шерстяной плед, когда вошла Седа с головой, прикрытой полотенцем, и легла на диван. Следующие хлопоты ожидали ее с ужином, но до него еще было время, и она разрешила себе недолго вздремнуть. Она повернулась, потянув на себя шаль, оставленную не на месте Ниной, обратила внимание на потемневшее небо, с удивлением отметив, что день подходит к концу, и перевела взгляд на книжный шкаф, занимавший всю стену. Перед книгами стояли в рамках и на подставках черно-белые фотографии ее родных: дедушек и бабушек, брата и родителей, мужа и детей. Взгляд Седы блуждал по фотографиям, пока не замер на портрете родителей: молодые отец и мать смотрят в объектив счастливыми глазами двадцатилетних молодоженов. Отец, с идеально прямой спиной, сидит в глубоком кресле, заложив ногу на ногу и аккуратно сведя ладони на колене, а мать стоит за ним, опустив украшенные кольцами руки на его широкие плечи. Другую фотографию сделала сама Седа, в юбилейную, тридцатую годовщину свадьбы родителей: отец и мать стоят на берегу моря в Батуми. Последний отпуск, проведенный семьей вместе. У отца, как и положено советскому инженеру, очки в толстой оправе, рубашка, короткий галстук и легкий летний пиджак через плечо. Веселый взгляд и надменная улыбка. Рядом с ним мать, вцепившаяся в локоть его правой руки, – стоит босиком, и кажется, если отпустит руку отца, то волны, задевающие ее ступни, и ветер, треплющий края платья, унесут ее. Седа вспомнила, как в тот отпуск, выйдя из моря, опустилась на песок и закуталась в полотенце, прислушиваясь к русско-грузино-армянской речи, заполнившей пляж. Рядом лениво загорали ее родители, и Седа вздумала подразнить их, старых буржуа, историей, случившейся еще весной. «Один мой однокурсник, – заговорила она, – сделал мне предложение». Мать вскинула голову, отец настороженно покосился. «Он видел меня второй или третий раз в жизни. Мы сидели на веранде в кафе, и я мигом покраснела. Я отказала ему, – слукавила, смеясь, Седа. – Самое резкое „нет“ в моей жизни». Отец, как она и ожидала, быстро потерял интерес к этой истории, поняв, что продолжения не будет, но мать погрузилась, пожалев и дочку, и бедолагу-однокурсника. Седа тогда не придавала значения волнению матери. Она снова всмотрелась в фотографию родителей; вспомнила, как ее раздражала вымученная улыбка, с которой мать смотрела в объектив. В те дни, не подозревая о серьезности маминой болезни – никто тогда не думал, что это ее последний отпуск, последнее лето, последний июнь, – Седа предпочитала смотреть в ясное, спокойное лицо отца и в нем искать ответы на тревожившие ее вопросы. Самый важный вопрос – «Как дальше быть?» – встал осенью, по возвращении в Ереван, когда матери сделалось плохо и ее положили в больницу, в которой она провела всего два дня, а на третий ее не стало.

Ранняя смерть жены ударила по Генриху Бургчиняну. Он замкнулся в себе, целыми днями ни с кем не разговаривал. Избрал себе в качестве наказания упрямое и унижительное одиночество. Повел себя так, словно опять превратился в сына арестованного, во врага народа, в человека, которого следует держать от окружающих подальше. Тоски и боли прибавилось после сороковин, когда Мисак, его сын, уехал в рыночную Москву – искать благополучия, денег, успеха. «Что толкнуло его покинуть меня в такую трудную минуту?» – думал Генрих, но не упрекал сына. Он смирился с его поступком, но был уязвлен. Сам он жил десятки лет на одну и ту же зарплату старшего инженера и не допускал мыслей о карьеризме и прочих низостях, как зараза распространившихся в распадавшемся советском обществе. Много позже он осознал, что не перемены в обществе раздражали его и что его счастье было не в политике или экономике, не в войне, патриотизме или воссоединении с родной землей и тем более не в деньгах. Его ежедневная тихая радость таилась в женщине, от которой он хотел избавиться большую часть супружеской жизни. И теперь ее не стало.

После всего случившегося – смерти матери, отъезда брата, затворничества отца, – чувствуя себя не менее одинокой, Седа нуждалась в человеке, который вернул бы ее к привычной жизни. И это была главная причина, по которой в ту ноябрьскую ночь она вышла из опустевшего дома на Абовяна и дошла пешком до общежития университета. Он не верил, что она пришла к нему, а она знала, что он будет принадлежать ей. Они соединились, подчинившись слепому влечению, во власти обещаний молодости. Но по-настоящему Седа узнала этого чудака – Саркиса Фузилияна – на следующее утро, когда он покинул ее, уехав в родную деревню, и через день вернулся в Ереван – и не один, а вместе с сестрой – шестнадцатилетней девушкой, обесчещенной, не имевшей при себе ничего, кроме отцовского портфеля. Не раздумывая, не сознавая, что творит контуры собственной судьбы, Седа тайком от отца приютила непутевых брата с сестрой в доме на Абовяна и гордо убедила себя, что вновь обрела семью. Но ее ждала куда более трудная миссия, требующая тонкости и расчета. Пока тот, кого она не без робости называла «любимым», корпел над дипломным проектом, а в свободное время выпивал с друзьями, слушая *Pink Floyd* – магнитофон был единственной вещью, которую он забрал из общежития, – Седа осмелилась признаться во всем отцу.

Она навестила его в квартире на Московской улице. Несмотря на ранний декабрь, было тепло, и они сидели на деревянных стульях у крыльца дома. «Папа, – сказала Седа, понизив голос, – я решила выйти замуж». Генрих повернулся к дочери, склонил голову и спросил за кого. «Он уже делал мне предложение», – призналась она. Генрих сощурил глаза, припомнил историю о предложении, сделанном на веранде кафе, и посмотрел на дочь с удивлением. «Да, – подтвердила Седа, – это он». Старик потянулся за табаком в нагрудный карман куртки. Он вспомнил, как Мисак – его Мисак, пропавший в Москве, – вернувшись на пляж с бутылкой пива и услышав в пересказе эту историю, расспросил сестру, кто этот чудака, и узнал в нем архитектора с выпускного курса. «Он архитектор, значит?» – спросил отец, сворачивая самокрутку. «Да». – «Он уже что-нибудь построил?» – «Нет, – ответила Седа, – он только выпускается». – «Ах да, – кивнул Генрих, доставая спички. – Вы сыграете свадьбу?» – «Вряд ли. Генрих нахмурился, покрутил мозолистыми пальцами самокрутку. «Значит, выходишь замуж, – протянул он и закурил. – Не рановато ли» – «Ты вообще хочешь увидеться с ним, прежде чем мы распишемся?» Старик уставился на лужицу перед собой – на безжизненное отражение своего лица. Дочь требовала от него слишком многого. Он не ожидал такого давления. «Я могу, – ответил он, пожав плечами. – Но будет лучше, если приедет Мисак». – «Он обещал приехать». – «Он приедет?» – «Он обещал, – повторила Седа. – А исполнит он свое обещание или нет, я не знаю. Это же Мисак». На лице старика впервые показалось что-то вроде интереса. Он неспешно поднес самокрутку. Глаза его заулыбались. Седа снова обратилась к нему: «Ты не возражаешь, если мы будем жить в доме на Абовяна?» Старик поднял брови. «Тоже не хочет жить со мной?» – подумал он и всмотрелся в настойчивые глаза дочери, словно испытывал ее на прочность. «Ты спрашиваешь у меня разрешения?» – уточнил он. «Да, папа. Я не хочу, чтобы жизнь в нашем родном доме прерывалась». – «А эта квартира разве не наш дом?» – спросил он, не отводя внимательного взгляда. «Ты понимаешь, о чем я говорю, – теряя терпение, ответила Седа. – Я уже привыкла к *тотому* дому». Дочь как будто не шутила. Она была куда более похожа на него самого, чем ее брат. «Так что ты скажешь?» – спросила, еле сдерживаясь, Седа; казалось, она вот-вот сорвется. Генрих понимал, что ее гонит стыд, а не какое-либо срочное дело. Но что он мог поделать? Он одобрительно закивал. «Живите, – проговорил он, переводя взгляд на лужицу. – Теперь это будет ваш дом».

Получив согласие отца, Седа на правах хозяйки по-новому обставила фамильную квартиру на Абовяна: отполировала, а затем переставила бабушкино пианино и антикварную мебель, бережно хранившуюся матерью; вытащила из дубового шкафа картины дедушки –

большого приятеля Сарьяна<sup>11</sup>, рисовавшего натюрморты в духе Сезанна на *maniere armenienne*; разбавила скромной коллекцией Сако богатую семейную библиотеку; сдула пыль с дореволюционных фарфоровых статуэток, привезенных бабушкой еще в начале века из Тифлиса. А самое важное – впервые открыла толстый плетеный сундук, где лежали альбомы с выцветшими семейными фотокарточками, и пухлые конверты с бабушкиными письмами, и отдельно скрепленная стопка писем дедушки, отправленных им с этапа и из лагеря; а также особенно дорогой для нее документ – справка пятьдесят седьмого года о его реабилитации, которую Седа впервые держала в руках.

В следующие годы она успела не только выйти замуж, но и поступить в аспирантуру, родить ребенка, приступить к диссертации о пребывании Байрона на венецианском острове мхитаристов<sup>12</sup>, родить второго ребенка, приветствовать новую независимую Армению, а затем проснуться в холодной и ободранной Армении. В течение этих лет отец всего пару раз съездил в Москву к сыну и изредка – после долгих уговоров – навещал дочь в квартире на Абовяна. Он проводил с ней и внуками от силы пару часов и поспешно уходил, словно боялся задержаться дольше положенного рядом с родными людьми, словно семья – это клетка, из которой следовало как можно скорее выбраться. Седа не понимала, что отпугивало его от родного дома. Может, гадала она, две тени, которые нависали над ним, едва он вступал в этот дом: тень жены, ушедшей так рано, и тень сына, уехавшего от него при первой возможности? «А может, что-то не так делаю я?» – спрашивала себя Седа, провожая отца до трамвайной остановки.

За окном стояла ночь и сыпал снег, когда она проснулась. Комнату слабо освещал огонек свечи на столе Амбо. Седа поднялась и по темному коридору, касаясь руками стен, дошла до кухни, умылась ледяной водой из ведра и вернулась к детям. Попросила Амбо зажечь пару свечей в прихожей и спросила, не голоден ли он. Амбо покачал головой. «Тогда подождем остальных», – сказала Седа и снова вспомнила плетеный сундук, в котором, помимо документов, хранила деньги. «Надо вернуть Нине за свет. Так будет правильнее», – подсказала ей гордость, и она полезла под кровать, где стоял сундук. Она потянулась к нему, открыла, нащупала тайник, вшитый в обивку, отсчитала деньги и вернула сундук на место. И тогда же ее взгляд упал на кожаный портфель Нины. *Ну, понятно, понятно. Влюбилась. Не задавая себе лишних вопросов*, Седа потянулась к чужому портфелю, вытащила его и ушла с ним в спальню. Заперев за собой дверь, она открыла портфель Нины, осторожно порылась в нем и нашла стопку писем от Рубо. Седа прочитала полностью только одно письмо. Про то, как он собирается кружить пальцами по женским бедрам. Затем она пробежалась по остальным: признания в любви, поцелуи, мечтания, тяга к звездам и так далее. Ануш была права. Седе сделалось сначала смешно, потом грустно и наконец противно. От писем разило пошлостью и мещанством. Давно говорила Сако, посмеиваясь, что его сестра после полуночи тащит с книжной полки романы Мопассана. Но теперь она узнала то, чего Сако не знал, и комичного в этом было мало. В душе Седы поднялся вихрь. Сознание, что Нина спит рядом с ней, рядом с ее детьми, отчего-то встревожило ее. А еще Рубо. Этот неотесанный Рубо, который и двух слов связать не может. Покой оставил Седу. Она хотела разорвать эти письма, избавиться от них, сделать так, чтобы их никогда и не было, словно предчувствовала – они разрушат ее мир. Седа уже не хотела возвращать деньги. «Сами заварили, – решительно произнесла Седа, – сами расхлебывайте». Она вернулась в гостиную и отправила портфель Нины обратно под диван.

И застыла посреди комнаты, скрестив руки. Задумалась, что делать. Хотела, но не могла отгородиться от безответственного поступка мужа и простодушия его сестры. «Скверна, –

<sup>11</sup> Мартирос Сарьян (1880–1972) – армянский художник-постимпрессионист, работавший в ориенталистской стилистике, основоположник современной армянской школы живописи. С 1921 г. жил в Ереване.

<sup>12</sup> Мхитаристы – армянский католический монашеский орден. Основная конгрегация ордена располагается на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. В ноябре – феврале 1816 г. остров мхитаристов посещал, изучая армянский язык и армянскую историю, лорд Байрон.

внезапно подумала она. – Как они смеют осквернять мой дом». Она снова опустилась на пол и вытащила теперь фамильный плетеный сундук. «Мама, ты в порядке?» – спросил Амбо, озадаченный тем, что мать в который раз полезла под диван. «Подойди ко мне, – приказала Седа, – подойди скорее. Хочу тебе кое-что показать». Амбо подсел к матери. «Может, что-то по дому сделать, мама?» «Нет, сиди смирно». Седа вытащила сундук. «Видишь? – спросила она, указав на него. – Это самое важное, что у тебя есть». Амбо непонимающе глядел на мать. «Вся история твоей семьи хранится здесь, в этих вещах. Ты никого, кроме деда, не застал. Но эти вещи понят всех». Амбо продолжал непонимающе смотреть на мать. Ее тревога нарастала. «Обещай мне, что сохранишь этот дом, – проговорила она. – Обещай, что не допустишь, чтобы этот дом прогнил». Амбо хотел улыбнуться, но мать смотрела на него предельно строго. Она открыла сундук и показала ему какие-то письма, какую-то справку, какие-то документы. Он впервые услышал слова «приговор» и «реабилитация». Мать раскрыла фотоальбом и показала ему фотографию его прапрадедушки Порсама – завитые усы, цилиндр, пенсне, – человека, построившего этот дом. Затем – фотографию прадедушки, чьи картины сейчас висели на стенах, и рассказала, что его несправедливо арестовали и выселили из дома. Показала фотографию, на которой прадедушка был запечатлен вместе с сухопарым мужчиной в брюках и заправленной рубашке, с улыбкой, добрее которой не сыщешь на всем Кавказе. Они сидели за столом с кувшином вина. «Видишь этого мужчину? – спросила Седа сына. – Это Мартирос Сарьян – главный художник Армении. А рядом с ним его ученик – твой прадедушка. Узнаешь комнату?» Амбо взглянул. Он кивнул матери. «Самый великий художник Армении сидел в той же комнате, в который ты сидишь сейчас. Понятно?» Амбо кивнул во второй раз. «Встань, покажу тебе еще кое-что». Она взяла его за руку, подвела к книжному шкафу и показала фотографию молодых дедушки и бабушки. «Сорок лет назад, после смерти Сталина, – говорила она пятилетнему сыну, – твой прадедушка отвоевал у государства этот дом, с которым был связан наш род». – «То есть весь этот дом – наш?» – спросил Амбо. «Когда-то был весь, но сейчас – вот эта квартира, – поправила его Седа. – И твоя задача, и задача Гриши, когда он подрастет, не потерять это. Теперь ты понимаешь меня?» Амбо в третий раз кивнул. «Понимаю, мама», – отозвался он, не сводя взгляда с фотографии молодых дедушки и бабушки.

Заскрипела входная дверь. Седа быстро убрала документы и фотографии, отправила сундук под диван и вышла проверить, кто там. Нина, раскрасневшаяся от холода, держала в руках коробку, обклеенную скотчем. Она пришла с почты. Седа вопросительно глядела на нее. «От твоего брата, – пояснила Нина. – Тяжеленная». Седа молча взяла посылку и ушла с ней в гостиную. Амбо, позабывший все, что мать ему сейчас наговорила, закрутился вокруг коробки, уверенный, что дядя снова прислал ему подарок. Седа распаковала посылку: с десяток банок тушенки, банка красной икры, упаковки импортного риса, импортных макарон, японский «Тетрис» и теплые вещи: перчатки, шерстяные носки, шарф. Нина, обняв руками плечи, вошла в комнату и незаметно, боясь кого-нибудь потревожить своим присутствием, опустилась на стул рядом с кроватью Гриши. Он просился на руки. Но Нина не осмелилась взять его. Она замечала на себе недовольный взгляд Седа, но не понимала, в чем провинилась.

Следом за сестрой пришел Сако, продрогший, с промокшими ногами. «Сако?» – донесся голос Седа. «Я», – ответил он. Он опустил на пол банку с молоком, стянул с себя мокрое пальто и ботинки. Нагнулся над санками, отвязал дрова и отнес их в кладовку. Тело ломило. Он вошел в гостиную с парой пахучих дров и увидел на столе посылку с вещами. «От кого?» – спросил он, складывая дрова у печи. «От Мисака», – ответила Седа. Сако опустился на корточки перед печкой, открыл дверцу, собрал пепел, вынес на балкон и вернулся, захватив газетных листов. Седа все еще перебирала вещи. Сако сел за стол, перевел дух и расспросил, что прислал Мисак. Спросил сына, что за игра у него в руках. Потом взглянул на Нину, которая сидела, замерев, у кровати Гриши. Нина слабо пожала плечами. Сако перевел взгляд с сестры на жену.

Седа молчала, и он чувствовал, что это намеренное молчание. Он снова взглянул на сестру, и та тоже не ответила ему. Шла непонятная ему молчаливая война.

Сако поднялся, задвинул стул, снова сел перед печкой и подкинул в нее веток и дров. Тело ломило все сильнее. «Твой отец сказал, что говорил с лесником, – обратился он к Седе, поджигая газетную бумагу. – Лавочку могут скоро прикрыть. Правительство, говорит, перекрыло им ход. Ждут сигнала из милиции». – «А сам он как?» – «Отец?» – «Не лесник же. Сако пропустил мимо ушей ее замечание. «Не жалуется, – ответил он. – Говорит, для него ничего не изменилось. Как жил последние годы, так и живет». Он снова поглядел на сестру. «Что-то точно произошло, – подумал Сако, отворачиваясь к дровам. – Надо бы их помирить». Гриша ухватился за бортик кровати, поднялся и что-то пробубнил. Нина все еще не осмеливалась взять его на руки. Седа повернулась к сыну, подмигнула ему и встала, чтобы отнести продукты на кухню. Нина поднялась вслед за ней, надеясь как-нибудь помочь с ужином. Через пару минут Седа вернулась одна. Огонь к этому времени наполнил комнату теплом.

Они ужинали в гостиной, почти в полном молчании, при свете церковных свечей. Седа сварила рис и добавила жирной, мягкой тушенки, растекавшейся по тарелкам. Сытный ужин – редкость небывалая – на время заслонила невзгоды. Только Нина ела без аппетита. Каждый раз, когда Седа вела себя так, как сейчас, она чувствовала себя ничтожеством. Чтобы как-то ободрить себя, она вернулась мыслями к своей надежде – к Рубо. «Только бы он выжил, только бы вернулся ко мне живой, – повторяла она про себя,ковыряя вилкой рис с редким мясом. – Вернулся и забрал. Больше ни о чем не прошу, только вернись. – Нина покосилась на брата, в молчании сгорбившегося над тарелкой. – И не буду никому в тягость».

После ужина Седа взяла на руки Гришу и опустила с ним в кресло. Нина поняла это как знак. Она собрала и отнесла на кухню посуду, там же перелила остатки теплой воды в мацун и смешала, чтобы получилось молоко. Амбо тем временем расспрашивал отца, почему снова нет света. Сако, не вставая из-за стола, ответил сыну, что свет скоро вернут. «Интересно», – промолвила Седа, глядя на Сако, а затем на Нину, вернувшуюся в гостиную. «Не дали света? – удивилась Нина, собирая оставшиеся приборы и проводя тряпкой по столу. – Снова обрубил, мерзавцы?» Сако укоряюще посмотрел на жену. Нина заметила это. «Что-то произошло?» – спросила она. Сако вкратце пересказал ей, что случилось с Баграмом. «Так весь дом был подключен к нему!» – покачала головой Нина. Лицо Седы сделалось непроницаемым. «Вы точно из одного теста сделаны», – произнесла она. Сако впервые за день повеселел. А Нина заключила, что именно это происшествие вызвало недовольство Седы. Она перестала переживать об этом. Теперь ее куда больше волновало, что брата постигла очередная неудача. Она почувствовала себя виноватой: это она рассказала Сако о подпольной электростанции. «Давайте-ка ложиться», – произнес Сако, вставая из-за стола; пот проступил на его спине и шее; он чувствовал, что заболевает. Нина разложила в гостиной диван, принесла одеяла с покрывалами и постелила, подвинув подушки ближе к печке. Себе она постелила на полу, также положив подушку ближе к огню. В эти годы, когда не было тепла, они спали все вместе в гостиной, ложась вокруг печки. Перед сном Сако снова затопил и заодно нагрел воды. «Завтра этой же водой умоемся, – сказал он, обкладывая постели бутылками с горячей водой. – Завтра будет новый день».

Гриша уже спал в детской кроватке. Нина лежала на полу, спрятавшись под горами одеял. Амбо в шапке и перчатках, накрывшись еще и толстым шерстяным одеялом, спал на диване, уткнувшись лицом в стенку. Седа лежала рядом с сыном, тоже под двумя слоями одеял. Сако ложился по традиции последним. Он прикрыл дверцу печи, разделся, оставив на себе только водолазку, потушил свечи и лег с краю, не касаясь жены. Жар в теле сменился холодом. Накатила слабость. Он задрожал. Седа обернулась. «Что случилось?» – спросила она. «Не знаю, – ответил он. – Дрожь не унимается». – «Смотри, не заболей», – шепнула она. Он не ответил. Дрожь усиливалась. Холод окутал пальцы ног, кончик носа, ладони. Его трясло.

Седа повернулась к нему и приподняла край своего одеяла. «Обними меня», – сказала она. Сако посмотрел на нее с удивлением. «Обними, чтобы согреться, – добавила она. – Давай». – «Седа?» – «Давай же, – настаивала она. – Скорее». Сако придвинулся к ней. С минуту она растирала руками его спину. «Стало теплее?» – спросила она. «Нет», – ответил Сако. Седа чувствовала, что его бьет озноб. Ей стало жалко его. Она приложила его ледяные руки к своему горячему животу. Он стучал зубами. Она уже целовала его лоб и кончик носа и изо всех сил растирала ему спину. Он полностью прижался к ней, положив руку на ее левую грудь. Но Седе было все равно. Она безучасно переводила взгляд со спящей Нины на печку, на мерцавший огонь, пока не остановилась на фотографии родителей на берегу моря. «Может быть, – подумала она, глядя на отца, – я так рано вышла замуж по твоей вине. Может быть, не будь ты таким эгоистом после маминой смерти, я бы не поспешила». Они лежали рядом, прижавшись друг к другу, пока Сако наконец не согрелся. Вскоре он уже мирно спал. Седа тоже закрыла глаза и постаралась отогнать от себя все мысли и чувства, все, что могло бы напомнить о прошедшем дне. Она уснула на удивление крепким сном, хотя изредка просыпалась из-за шума за окном.

В ту ночь кто-то спилил все деревья во дворе их дома.

## 3

Зимой девяносто четвертого года Рубо сбежал с карабахского фронта. Он поехал прямиком к сводному брату в Гюмри, бывший Ленинакан, не подозревая, что вместо счастливой семьи, жившей в просторном загородном особняке, он найдет обнищавших людей, ютящихся в пахнущей бедностью временке без окон. Брат, несмотря на тяжелое положение, приютил Рубо; он, как и раньше, проводил дни в отрешенном молчании, не обращая ни на кого внимания и подавая голос только во время застольной молитвы. И все бы ничего, думал Рубо, если бы только изо дня в день его исхудавшая жена не косилась на приехавшего с подозрением; если бы жалкий вид его костлявой дочери не лишал покоя; если бы мать-старуха не стонала от болей в суставах. В первый же день Рубо осознал, что его ждет, когда старуха, вспомнив, как тело ее внука нашли под обломками старого дома, samozабвенно, с удовольствием, заревела. Желание сострадать пропало у него навсегда. Ложась спать, он нашел рядом с собой оставленный братом томик Нарекаци<sup>13</sup>. Изумлению Рубо не было предела: сетуют на холод, на отсутствие тепла, а дома столько макулатуры, которую можно было бы сжечь. Он снова поглядел на корешок «Книги скорбных песнопений». Он открыл ее и прочел: «В огне отчаяния сжечь овладевающие мной соблазны...» Руки зачесались разорвать эту дрянь, разодрать в клочья. Пришлось унять их иначе: он вытянулся на кровати, закрыл глаза и напряг воображение. Два месяца он прожил в Гюмри, в городе, которым правила гордо помирающая беднота. Пару раз вышел с братом на «работу»: ночью, тайком от милиции они рубили деревья, сваливали дрова в холщовые мешки и на рассвете продавали их в Ереване. Но Рубо терял самообладание. Дело было даже не в нищете: плевать на жену и дочь брата, плевать на старуху, на самого брата и его христианские штучки. Дело было в том, что в очередной вечер он не нашел на гюмрийских улицах ни одной женщины. Он не был готов прозябать в такой патриархальной дыре. В тот же вечер он занял у брата денег и, ничего не объяснив, уехал в Ереван.

День он рыскал в поисках жилья и снял койку на окраине Арабкира. Его соседом оказался несовершеннолетний парень, смуглый, смахивавший на езида. Его звали Вруйр. Он был красив, нахален, беспризорен – полная противоположность брату Рубо. Его потянуло к юноше с необъяснимой силой. Он точно видел знакомый образ из прошлого: легкомысленные жесты, броские фразы, пьяные выходки. В такие минуты ему хотелось поднять глаза и спросить у небес: «Зачем, зачем вы так испытываете меня?» Рубо понимал, что у него еще есть время избежать ошибки, что надо сделать решительный шаг: дать деру из этой проклятой страны. Но как же приятно было слушать этого сорванца. Он словно смотрел в лицо человека, которого навсегда потерял, но все еще надеялся вернуть. «Эти ублюдки не выследят меня, – говорил паренек, заложив ногу на ногу. – Я скорее к мудакам на фронт, чем обратно в тюрьму». Вруйр, казалось, был готов выложить все свое прошлое, но Рубо не торопил; ему было достаточно знать, что сосед занимался воровством. И на предложение влезть «в какое-нибудь дельце» отвечал, что пока предпочитает посидеть в тылу.

Как-то раз Вруйр вернулся пьяным вдребезги, а с утра попросил у Рубо в долг. Хотя отличить ложь от правды в его изложении было непросто, Рубо все же понял, что на последнем этаже их дома работает бордель, куда парень зачастил и из-за чего влез в долги. Рубо наконец-то вздохнул с облегчением: во мраке изгнания появились лучи нормальной жизни. Он согласился помочь и пошел с Вруйром в салон, в неопрятную многокомнатную квартиру, где вместо дверей покачивались шторы, а в комнатах без света девушки обслуживали клиентов. Смуглые, бледные, армянки, русские, африканки – рыночная экономика нашла себе место

<sup>13</sup> Григор Нарекаци (около 951–1003) – армянский поэт, богослов и философ, представитель раннеармянского Возрождения. В Армении его «Книга скорбных песнопений» читается верующими как молитвенник.

в ереванских борделях. Гостей принимала хромая женщина. Рубо рассчитался с ней за Вруйра и заодно, надеясь унять злобу, напросился за шторку к одной из женщин. Ее звали Диана, ей было за сорок. Рубо она понравилась. Потрепанная, крупная, бесформенная. Он и не заслуживал лучшего. Чувство вины понесло в постель. Рубо боялся отношений, но не с Дианой. К шлюхам привыкать можно, за этим ничего не последует: ни брака, ни семьи, ни детей, никакой дурацкой ответственности, ничего, о чем так печется озабоченная традициями шваль – вроде его брата, молитвенно складывающего руки за столом. В конце очередной любовной встречи Диана рассказала о себе: сын на волне национальной эйфории отправился на фронт и через неделю погиб; муж, получив черный конверт, спился насмерть; она, оставшись в одиночестве, тоже запила и дошла до того, что завела любовника-собутыльника, который выписал ее из квартиры. Так она очутилась на обочине, где ее подобрал один человек и отвел в бордель. Она лежала с Рубо в постели, лениво затягиваясь сигаретой. Он обнимал ее, лаская затылок, пока она, глядя на его поникший член, выпускала струйки белесоватого дыма. Он неохотно признался, что не знает, когда в следующий раз навестит ее. Она вопросительно поглядела на него. «Ты мой главный клиент», – сказала она с укоризной. «Кончатся деньги», – пояснил он. «Ты нашел себе девку?» – «Нет. Я безработный». Уже в дверях она спросила, за какую работу он готов взяться. «За любую», – ответил Рубо.

На следующий день Рубо сидел один в пустой квартире. Занимался тем же, чем в предыдущие дни: глядел от скуки в окно, тянул пиво. По полупустым улицам изредка проходили люди. Вруйр влез в какую-то новую авантюру и уже несколько дней не был дома. Рубо рассеянно думал о нем. Занимал мысли, гадая, куда на этот раз его понесло. В дверь робко постучали. Рубо насторожился, но открыл дверь. Перед ним стояла Диана. Он впервые увидел ее одетой, с неброским макияжем, в ботинках, а не в туфлях, в черном пуховике, а не в белье. «Привет», – протянул он и впустил ее. Диана прошла, оглядела голую комнату и вложила ему в руку лист бумаги: адрес, телефон, имя. «Камо», – прочитал Рубо и посмотрел на Диану. «Я тебе рассказывала о человеке, который устроил меня в бордель», – ответила Диана. Рубо медленно кивнул, припоминая. «Он заведует стройкой в центре города, говорит, что ищет рабочих. Сходи попытай удачу». – «Что с меня?» – спросил Рубо, убирая листок в карман. Она еще раз безнадежно осмотрела комнату и спросила: «Выпивка есть?»

Так Рубо устроился рабочим на стройку элитного жилого комплекса у Голубой мечети. Поначалу он приезжал рано, к семи утра, и вместе со всеми рыл землю, таскал мешки цемента и в грязи и поту пекся под солнцем, изредка потягивая кислую «Киликию». Он никому не рассказывал о своем инженерном образовании, о фронте, о котором вспоминал лишь иногда и со злостью. Лишь изредка сетовал на судьбу: «Вот к чему ты пришел, вот чего добился». Но судьба подмигнула ему: Камо – бывший сержант милиции, теперь заведовавший стройкой, – пригляделся к нему, отнесся дружески и назначил прорабом. На новой должности смирение с Рубо как ветром сдуло. Теперь он приезжал на стройку не к семи, а к одиннадцати. Собирал рабочих, раздавал указания, ставил вдали от всех раскладной стул, садился, будто князь, и презрительно сузив глаза, поглядывал на бедолаг, корпевших над цементом и рытьем земли. Иногда приезжал Камо, и вечерами они подолгу сидели вдвоем, опустошая банки мягкого *Budweiser*. Камо был первым, с кем Рубо заговорил о фронте. «Каково было?» – спросил его новый приятель. Рубо показал на рабочих, тащивших огромную балку, и ответил: «Последнее, о чем думает рабочий, пока тащит это дерьмо, – для чего он все это делает. Футбол, женщины, иногда политика – вот о чем рабочий думает. Так и на войне. – Рубо покачал в руке банку пива, проверяя, много ли осталось. – В первые годы мы вешали в казармах портреты Андраника<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Андраник Озаян (1865–1927) – один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца XIX – начала XX века. Из-за политических разногласий с дашнаками жил в эмиграции: сначала в Европе, затем в США, где и умер. Почитается в Армении как народный герой.

и Нжде<sup>15</sup>. Но после взятия Агдама поменяли их на плакаты с девицами в бикини». Лукавые глаза Камо дали понять, что он принял ответ к сведению, оценил сказанное. За подобными разговорами они проводили вечера. Обоим нравилась эта дружба. Рубо был доволен своей новой ролью. Считал, что она ему подходит. Он отверг общество работяг и чувствовал себя теперь то ли зверем, то ли богом. Больше не было проблем с деньгами. «Получаю бабки, не вынимая рук из карманов», – докладывал он Диане. Даже подумывал вернуть брату долг, но вместо этого выручал Вруйрика. Бывало, закрадывалась мысль, что слишком рано он перестал скрываться, слишком быстро все завертелось. Но это были лишь слабые отголоски страха, не более. Рубо поддался вихрю, его унесшему, и подставлял затылок солнцу, сиявшему над его тронном у Голубой мечети.

Шел май девяносто четвертого, война заканчивалась, но Рубо уже не было до нее никакого дела. В один из воскресных дней он проснулся с легким похмельем. Включил телевизор *Sony*, недавно приобретенный, сварил кофе на иранской керосинке. Вруйр еще вечером куда-то унесся: к девкам, а может, к мужикам. Рубо все допускал и все позволял. Он заметил на полу пустую бутылку *Black Label*. Припомнил, как напрасно сходил ночью в бордель, но не застал Диану. К нему вернулось отвратительное чувство собственной ненужности. Да плевать. Его показное одиночество – не более чем вышедшая из-под контроля гордыня. Но Рубо эта поза была к лицу. Он пребывал в похмельном небытии и безразлично пялился в телевизор. Шел концерт в записи: толстобрюхий мужик в золотых цепях, окруженный школьницами в гольфах, играл на синтезаторе. Пел рабис<sup>16</sup> о вечной любви. Эстрадный урод, в которого воплотился странствующий певец-ашуг, когда-то читавший под аккомпанемент сантура лирические стихи. Рубо уменьшил громкость. Нужно сосредоточить ум, а не сердце. Жизнь обретала прежние черты устроенности. Накануне они с Камо сидели в баре с тотализатором. Мимо прошел худошавый мужчина: пальто в руках, неряшливо накинутый шарф, непослушные кудри, опущенная голова, неуклюжая походка, руки в карманах. Сако? Нет, показалось. Затем миланский «Интер», у которого были проблемы с составом, повел в счете в самом начале матча, не дав «Ювентусу», хоть и лучше сыгранному на тот момент, толком войти в игру. «Сыграли на опережение», – протянул Камо. Рубо вслушался в его слова. И заключил, что следует и ему сыграть на опережение.

Он допил кофе, выключил телевизор, надел белую рубашку и отправился в центр. По пути перелез через кованые ворота в соседский сад. Почувствовал укол в сердце, когда срывал охапку гортензий, вернулся на тротуар и дошел до бани на улице Баграмяна: там давали горячую воду для чиновников и милиции. Рубо сообщил броско покрашенной кассирше, что он от Карабахци Камо, попросил ее присмотреть за цветами и вошел в баню. В парной, облицованной потрескавшейся плиткой, сидел мужчина с густыми усами, висящим животом, толстыми ляжками и волосатым задом; он больше напоминал объевшегося турецкого пашу, нежели депутата армянского парламента. Рубо сел напротив. Пар поднимался от ног к животу, от живота – к подбородку, обволакивая шею. С паром пришло воспоминание. В молочном тумане в лесу хруст ломающихся веток, шум ветра, шелест листвы, и свист пуль, и крики товарищей. Что он здесь делает, куда бежит, кого преследует? И вдруг – будто по щелчку – они под обстрелом, и Рубо тянет за плечо Петро, а у того слезы и всхлипывания. *Не то ребенок, не то подросток, за этим я пошел на фронт, детей убивать, детей? Заткнись! Заткнись!*

<sup>15</sup> Гарегин Тер-Арутюнян, более известный под псевдонимом Гарегин Нжде (1886–1955) – один из лидеров армянского национально-освободительного движения первой половины XX века. Один из ключевых политических и военных лидеров Первой Республики Армения (1918–1921), противник большевизма. В 1944 г. был арестован в Болгарии, доставлен в Москву и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Умер в советской тюрьме во Владимире.

<sup>16</sup> Рабис, или рабиз – жанр армянской поп-музыки, отличающийся лирическим содержанием и сильным влиянием арабско-турецких музыкальных элементов.

Он бьет Петро по лицу, брызжет кровь, и – всё, кончилась война. Рубо встряхнул головой. Довольно. Сосед по парилке все еще сидел неподвижно, опустив веки. Теперь он был похож на сытое и умиротворенное восточное божество. Рубо пошел в душ, окатил себя ледяной водой и вымылся, наслаждаясь сильным напором горячей. После душа оделся, расплатился валютой, взял под мышку букет и не спеша направился к двухэтажному дому на улице Абовяна.

Ветхая каменная арка, украшенная традиционным орнаментом, как и четыре года назад, возвышалась перед домом его друга. Рубо вошел во двор и на него нахлынули переживания, которые он немедленно отогнал от себя. «Нет, – сказал он сердцу, – не мешай». Двор предстал перед ним почти голым – ни машин, ни деревьев, ни детей. Никого, кроме старика, сидевшего на облезлой скамье, и двух голубей, тоскливо сновавших вокруг. Рубо узнал в старике Артака, продавца из соседнего магазина, и кивнул ему. Старик не обратил внимания. Рубо прошел мимо, поднялся на второй этаж и постучал в дверь Сако. Тишина. Он постучал еще раз. Никто не открыл. Рубо спустился обратно во двор. Артак сидел на том же месте. Рубо дотронулся до его плеча. «А где Сако?» – спросил он. Старик не разобрал его слов. Рубо повторил. Глаза старика слабо заблестели. «А-а-а... – выдохнул он, закивав. – Уехали, уехали они». – «Куда уехали?» – «Как куда? – удивился старик и поднял указательный палец. – В Америку!» – «В Америку?» – «Калифорния, или как там... Америка-Америка, сынок. Уехали». – «Давно?» – «Год или полтора будет». – «Всей семьей?» – «Всей», – ответил старик и печально качнул головой. Рубо наклонился к нему и шепотом спросил: «А меня ты помнишь?» Старик настороженно покосился. Рубо нахмурился. «Не помнишь? Рубо, друг Сако?» Старик молчал. Не понимал услышанного. Не узнавал увиденного. Рубо выпрямился. «Значит, – сказал он, уже не глядя на старика, – уехали». Старик уставился на землю. «Ладно, – добавил Рубо, выкидывая цветы в мусорку. – Оно и к лучшему».

Он покинул двор и неторопливо пошел прочь. Город не спеша просыпался. Выходили на улицу женщины, старики, дети. Рубо задумчиво опустил голову. Поначалу он почувствовал облегчение – одной проблемой меньше, уехал, ну и ладно, – но шаг за шагом, мысль за мыслью в нем пробуждалось недовольство. Из них троих Сако всегда был самым заикленным на себе. Он был единственным, кто не пошел на фронт. Это не было предательством, но это было знаком. Сако всегда находил оправдание своим поступкам. И тогда он тоже подобрал красивые слова: дети, сестра, семья. Хотя, как подозревал Рубо, он просто не хотел бросать архитектуру. Он принял выбор Сако молча. Другое дело Петро – энергичный, наивный Петро, который хотел понять мотивы их общего друга, заговаривал о нем с Рубо, особенно подвыпив. Но Рубо отстранялся. Даже на фронте, когда они укрывались в лесной чаще и передавали друг другу флягу с самогоном, он одергивал Петро, если тот заговаривал о Сако. Ему было очевидно: трусость есть трусость, как ее ни назови. И поэтому теперь он чувствовал не удивление, а омерзение: человек, называвший себя их другом, сначала сдрейфил, а затем сбежал за границу. Злость захлестывала Рубо. «Моя жизнь – ничто, – говорил он себе, – плевок в землю, пепел, который забыли сдуть. Но мне обидно за Петро, за тех, кто отправился на фронт в патриотическом угаре, искренне веря, что будет убивать на благо друзей, родины, будущего». Рубо замедлил шаг. «Вот уж кому было бы горько узнать, что Сако сбежал в Америку». Теперь понятно: его самого, его товарищей на фронте, всех, кто поперся на эту войну, – всех обвели вокруг пальца.

Ему захотелось выпить. Он зашел в один из редких продуктовых за пивом. Отстоял десятиминутную очередь и услышал от дородной дамы с декольте, что алкоголь еще не завезли. Она предложила сходить в пивную рядом. Рубо вышел на улицу, спустился в подвал соседнего дома. В помещении, забитом табачным дымом, кучковались безработные мужики, сновала с подносом пожилая официантка и толпились, перекрикивая друг друга, молодые парни у стойки. Рубо пролез к бару и хотел позвать кассира, когда увидел перед собой парня, стоявшего к нему спиной; он рьяно что-то кому-то доказывал; знакомые кудри, повадка, речь.

Рубо ухмыльнулся. Он проклял про себя полоумного старика Артака и дернул парня за плечо, чтобы поприветствовать. «Чего надо?» – спросил парень, обернувшись. «Извини, брат, – ответил Рубо, – обознался». Незнакомец отвел настороженный взгляд. Рубо заказал пива, расплатился, разом осушил кружку и снова вышел на улицу.

Рубо подставил лицо ветру, глядя на закатное солнце, ощущая отрезвляющее разочарование. «Можно, – сказал он себе, – можно обо всем забыть». Он глядел на редких прохожих, на обрубки деревьев. Ловить было нечего, идти некуда. Он пересек площадь, поплелся в сторону мечети, поглядеть, что творится на стройке. Шел, приподняв голову, шурясь на солнце, и в итоге проглядел свой поворот: поднялся по улице Амиряна до улицы Сарьяна и заплутал в бестолковых переулках древнего квартала Конд; так и не понял, как очутился в незнакомом районе. Ереван не подчинялся ему, в очередной раз выплевывал из себя. Рубо так и не освоился здесь, не обрел дома, которого был лишен с рождения. Но нельзя было стоять, надо было куда-то идти. Он увидел одноэтажное здание из бурого туфа, похожее на детский сад. На табурете у калитки сидел дворник, держа в руках метлу. Склонив голову, с сигаретой в углу рта, он поглядывал на детей, которые перекидывали друг другу мяч. Рубо подошел уточнить, как дойти до мечети. «Друг, подскажи», – обратился он, и дворник вмиг отозвался на его голос. Рубо замер с полуоткрытым ртом. С секунду они смотрели друг на друга. Сако рассмеялся, вскочил, бросил метлу и крепко обнял Рубо. А Рубо не верил происходящему. Стоял, не шевелясь, пригвожденный к земле. Его все-таки застали врасплох. Сколько ни пытайся сыграть на опережение, снова окажешься позади. Сако тем временем что-то громко затараторил. «Что... – наконец-то выговорил Рубо, страхнув оцепенение. – Что ты здесь делаешь?!» Сако смешался, повертел головой и, словно на него снизошло озарение, громко рассмеялся: «Что *ты* здесь делаешь!» – «Я?» – «Ты!» – «Я... я...» – но Рубо не договорил. Сако хлопнул его по плечу. «Ты же никуда не спешишь?! – проговорил он, глядя ему в глаза. – Я сейчас предупреджу, что мне надо уйти, вот-вот вернусь, подожди, не уходи, не уходи никуда!» – добавил он, подобрал метлу и побежал к зданию детского сада.

Вскоре он вернулся, держа на руках ребенка двух-трех лет. «Гришка, мой младший, – гордо представил он и добавил: – Амбо тоже подросток, окреп. Седа придет с ним из школы, увидишь». Рубо забыл, что у Сако уже второй. Одно потрясение за другим. «Как тебя сюда занесло? Когда ты вернулся?» – спрашивал Сако по дороге домой. Рубо рассказал, что был у них, но никого не застал, кроме старика Артака, который сказал, что они уехали. «Эх, он после инфаркта совсем стал плох. – Сако энергично затряс головой. – Перепутал меня с Багратом, соседом с первого этажа. Это физик, занимался кибернетикой. В толстых очках, неопрятный, помнишь? Он в итоге уехал в Калифорнию». Они прошли по правильному, короткому пути к улице Абовяна, свернули к старой арке, и Рубо кивнул на опустевшую скамейку. «Да, – сказал Сако, – или сидит в одиночестве целыми днями, или прячется в каморке Мгера, сапожника. Знаешь, сколько людей уехало, скольких стариков не стало?» Они пересекли двор, поднялись по лестнице на второй этаж. «А я был уверен, – продолжал Сако, – что с вами что-то стряслось: прекратились письма, не было новостей». Он замолчал, надеясь наконец что-то услышать от Рубо. Но Рубо не знал, что сказать. Сако спустил Гришу с рук, поискал ключи и открыл дверь. Вдруг он замер. «А где Петро, Рубо?» – спросил он. «Нет Петро», – глухо ответил Рубо. Сако кивнул – на мгновение ему показалось, будто по лицу ударил холодный ветер, – он торопливо закивал, давая понять, что принял весть, и толкнул дверь. В тишине они прошли на кухню. Сако ощущал внимательный взгляд сына. Тот видел, что веселость отца исчезла. Каждая пауза причиняла ему боль. Но нельзя было стоять, надо было что-то делать. Сако поставил на стол пепельницу, достал пару рюмок, тарелку с сыром и принес с балкона бутылку яблочного самогона.

«Как это произошло?» – спросил Сако, разливая самогон по рюмкам. Глаза Рубо сузились, на лбу, возле шрама, пролегли морщины. «Мы стояли за Карвачаром», – заговорил он,

вспоминая лагерь в горном лесу. В предрассветную разведку, как правило, отправляли их с Петро. В очередной раз, двигаясь в тишине по буковому лесу, в час, когда еще не отступила ночь и не подступил день, в мгновение, когда они сами были будто рубеж дня и ночи, они нашли труп девушки, лет четырнадцати. Еще совсем ребенок. «Было ясно, что ее изнасиловали, – произнес Рубо, отводя взгляд в сторону, – и не один человек, и не раз, и перед тем, как перерезать горло, даже не дали ей вытереться, в таком виде и бросили в лесу. Какие же твари, подумали мы». Петро стоял тогда с лицом, наполовину красным от нахлынувшей злобы, наполовину бледным от подступившего страха. Он не знал, что делать. Рубо велел ему замереть: поднес к губам палец и прислушался – но не услышал ничего, кроме мягкой тишины леса, кроме рокота горной реки. Только потом они подняли тело девушки и в молчании отнесли в лагерь. И в том же молчании положили на землю – перед остальными солдатами, оторвав их от костра, от смеха, от самодовольной болтовни. Все тотчас прервали разговоры, отложили котелки, обо всем позабыли. Уставились на оплеванную девушку, на чьем теле остались следы насилия и бесчестия. Старая, незалеченная, непризнанная рана, терзавшая очередное поколение армян, снова раскрылась, их сердца наполнились скорбью и гневом. Тени истребленных предков вновь поднялись. Солдаты вспомнили, зачем они здесь. Память о резне, может, и спала, под повседневными заботами или мечтами о справедливом будущем, но не исчезла; та память в действительности всегда жила в их сердцах, во всех армянских сердцах. «Я впервые понял, почему Петро столько говорил о мести. – Рубо покрутил сигарету. – Я понял, что все мы – ливанские армяне, греческие армяне, американские армяне, французские армяне, советские армяне – все мы отправились на эту войну не за землей, а за отмщением. Сумгаит и Баку были лишь поводом, толчком, выбившим землю из-под ног. – Он медленно затянулся, задумчиво отведя взгляд. – Нас, армян, может объединить только боль». Они вырыли могилу, опустили девушку в яму, вложили ей в руки флаг Армении, осенили прощальным крестом и засыпали землей. «Остаток дня мы растили свою злобу, размышляли, как отомстить. Затеяли маленькую операцию, никого ни о чем не предупредив». Утром следующего дня Рубо и Петро снова отправились на разведку. Лежала роса, бледная туманная пелена стелилась по склону леса, и они с Петро шли, растворяясь в тумане, шли, наклонив головы, туда, где вчера нашли труп поруганной девушки. И только они перешагнули тропу, как послышался шорох. Вдали блеснуло автоматное дуло, показалось смуглое лицо, юноша во вражеской форме. Рубо выпустил пулю, которая просвистела над его головой. Чужак дал деру. Бежал изо всех сил, сначала в одном направлении, потом, споткнувшись о камень, в другом, и было видно, что он бежит слепо, куда ноги несут. Рубо тотчас повернулся к Петро и дал ему знак: зови наших, – а сам понесся за беглецом. «Уже потом, – сказал Рубо, – я понял, что он был приманкой. Мы думали, что хитрее их». Отряд Рубо тут же выступил по периметру леса, окружив юношу. Рубо бежал за ним, видя издали, как он размахивает руками, как винтовка стучит по его спине, и понял – сейчас или никогда, и остановился ровно на миг – и в этот миг выпустил вторую пулю. Юноша повалился. Корчился в луже, держась за прострелянную ляжку. Рубо догнал его и увидел, что перед ним совсем ребенок, лет шестнадцати, может семнадцати, не старше, и подумал: «Не повезло тебе». Как его только не обозвали: мразь, животное, гнида, нечисть, антихрист. «А потом, – сказал Рубо, впервые за рассказ поворачиваясь лицом к Сако, – начался ад». Сако вопросительно посмотрел на него, не понимая. «Командир отряда приказал обвязать рот юноши тряпкой и привязать к дереву, – продолжил Рубо, не отрывая взгляда от Сако. – Он уже знал, что собирается сделать. Ему было не важно, кто именно обесчестил девушку. Он хотел отомстить первому же попавшемуся турку. – Рубо на секунду замолчал, постучав пальцем по столу. – Мне кажется, он хотел все сделать сам, но тут увидел Петро. Он протянул ему нож и приказал оскотить парня. – Сако изменился в лице. Рубо усмехнулся, заметив это. – Никто не поверил. Но командир не шутил. Он накричал на Петро, напомнив ему, где он и что они сделали с девушкой. „Сегодня они сделали это с ней, завтра сделают с твоей доче-

рю!» А Петро стоял как вкопанный. Отступил, стукнулся затылком о дерево. Читал бы лучше свои книги, митинговал бы на улицах... Командир багровел, тряс ножом. „Они обесчестили девушку, – кричал он, – изнасиловали ее!“ А у Петро задрожали руки, затрясся подбородок. Я не выдержал, мне хотелось прекратить это», – добавил Рубо, взял наполненную рюмку, кивнул Сако и разом выпил. В подробностях, будто вымещая на слушателе пережитое, он рассказал, как выхватил у командира нож и дал тяжелую затрепину азербайджанскому мальчишке. Не успел тот опомниться, как получил кулаком в челюсть. Пока он выплевывал зуб, Рубо спустил с него брюки и трусы и, схватив обмякший член, ударил ножом по мошонке. Брызнула кровь, мальчишка забился в истерике. Рубо поднялся, со всей силы двинул лбом ему в лицо и снова, еще глубже вонзил нож, еще сильнее навалился плечом, чтобы разрезать сухожилия, и все-таки оскопил мальчишку. Затем поднялся и выкинул мертвый отросток в сторону. Голова юноши свесилась на грудь, и Рубо наблюдал, как медленно растекается по его ногам кровь, как дух, словно дым из камины, медленно покидает тело, как в глазах умирающего застывает первородный ужас. «Петро стошнило, – промолвил Рубо. – И это было лучшее, что с ним могло произойти в ту минуту». Рубо тем временем выбросил нож, вытер руки краем майки, посмотрел командиру в лицо. «Вот она, цена любви к родине, а, командир?» Командир в ответ посмотрел на него как на бродягу, как на псину. Рубо и был покорным псом, исполнявшим чужие приказы. «И тогда раздались выстрелы, – добавил он, сильнее застучав по столу. – Я сразу сообразил: засада. И был прав: азербайджанцы мигом окружили нас. – Рубо попросил подлить самогона. – Дерьмо. Какое же все это дерьмо. – Рубо поднял рюмку, кивнул и выпил. – Уже потом я все понял. Они придумали этот ход, чтобы выманить нас из глухой обороны, очистить себе путь по лесу. Они поступили так, как всегда поступали, чтобы вывести нас, армян, из равновесия: взяли невинную девушку, отдали на растерзание солдатам, оплевали и бросили в лесу. Через сутки мы ее нашли, а они увидели, что приманка исчезла, и это был им знак, что пора действовать. И они, в отличие от нас, действовали с умом, а не ослепленные гневом. Они решили пожертвовать кем-то из своих и выбрали того юношу. Такого, знаешь, пылкого юношу, от которого больше шума, чем пользы. Спели, наверное, ему песню о патриотическом долге и отправили на благо родины в разведку. Мы его быстро поймали, а они, выждав, плотно окружили нас. И начался обстрел». Рубо стрелял куда попало, пока не вспомнил – слишком поздно вспомнил, – что он не один. Он подбежал к Петро, который сгорбился возле привязанного к дереву юноши, потянул друга за руку, что-то выкрикнул, ударил по лицу, а затем – новый выстрел. «Пуля влетела в правый висок и вылетела из левого, – сказал Рубо, сморщив губы. – Все произошло слишком быстро». Он в последний раз стукнул пальцами по столу, молча поднял рюмку и залпом выпил.

«А потом?» – спросил Сако, впервые подав голос. «Потом? – повторил Рубо, растерянно поглядев на него. Он подумал пару секунд. – Потом мы отбились. Я забрал тело Петро и похоронил в лесу. – Рубо выпрямился. – Но об этом в другой раз». Сако кивнул. А как еще это могло произойти? Только так: абсурдно, бессмысленно. Так и умирают любящие жизнь люди. «Я навестил его родителей, – прибавил, понизив голос, Рубо, – рассказал им все». – «Хорошо, – сказал Сако и, помедлив, добавил: – Я тоже съезжу». Он опрокинул еще рюмку. Все нутро, от желудка до горла, прожгло. Самогон понемногу смягчал тяжесть. Сознание меркло, боль утихала. Сако заметил, что Рубо внимательно разглядывает его. «Ты изменился», – сказал он. Сако выдавил улыбку, погладил стриженую голову, впалые щеки, заросшие щетиной. «А кто не изменился за эти годы?» Рубо усмехнулся. «Как давно работаешь в детском саду?» – спросил он. «Полгода», – ответил Сако. Боясь паузы, он налил еще по одной. Перед тем как чокнуться, почувствовал, что хочет выговориться. «Не мне жаловаться, но пойми: никто не знал и не знает, что делать. Нет работы. Совсем нет, понимаешь? Ее вообще нет. Нужно было себя чем-то занять. Я боялся сойти с ума». Рубо участливо кивнул и поднял рюмку. «Лучше выпьем», – сказал он. Они выпили. Сако морщился, а Рубо сидел с каменным лицом, словно пил воду. «А тебя

так и не берет?» – ухмыльнулся Сако. Рубо помотал головой. «Так когда ты вернулся?» – спросил Сако, думая о том, что вот-вот должна прийти Седа. «Что?» – переспросил Рубо. «Когда ты вернулся? – повторил Сако. – Третий раз уже спрашиваю». Рубо потер лоб и рассказал, что приехал пару недель назад, но какое-то время гостил у фронтового друга, который устроил его прорабом на стройку у Голубой мечети. Только тогда он почувствовал себя готовым встретиться с друзьями. «Надо было сразу прийти», – сказал с укоризной Сако. «Столько всего случилось, я не знаю, – задумчиво выговорил Рубо. – Сегодня проснулся и понял, что смогу навестить».

Сако понимающе закивал. Потер лоб и поглядел на настенные часы. Он вспомнил, что Гриша еще не обедал, решил, что с очередной рюмкой лучше повременить, и открыл холодильник. «Седы все нет. Может, сами что-нибудь сварганим, а?» – спросил он. Рубо помедлил с ответом. «Как скажешь, Сако». Внутренний голос подсказывал ему, что холодильник его друга пуст, что он, Рубо, лишний в этом доме, что доставляет своим присутствием одни неудобства. Он уловил растерянность во взгляде Сако. Ему хотелось стянуть с себя эту некстати нарядную рубашку. Было невыносимо глядеть на чужую бедность. «Не нужно было тревожить их, – подумал он. – Какая дурость повела меня в этот дом?» Ему следовало уйти. Скорее. И в тот же миг раздался звонок. Сако, уверенный, что это Седа, поспешил открыть. Но на пороге стояла, устало склонив голову, Нина. Она прошла мимо брата. «Я неважно себя чувствовала, – пробормотала она, поднимая взгляд, – отпросилась с работы». На том же месте, что и четыре года назад, она увидела Рубо. «Здравствуй, Нина», – виновато произнес он. У нее перехватило дыхание. В глазах засияла надежда. «Здравствуй, Рубо», – ответила она, застыв перед ним. Они не знали, что еще сказать; так и стояли бы, глядя друг на друга, если бы Сако, ничего не подозревающий Сако, не спросил: «У вас все в порядке?» Нина закивала, передала брату свою сумку, чтобы он отнес на место, и немедленно взялась за приготовления к обеду. Сако болтался по кухне, больше мешая сестре, чем помогая, пока Рубо сидел, не двигаясь, за столом и смотрел на Нину, и чувствовал пугающую, нарастающую тягу к ней. Слыша ее голос, видя ее затылок, присматриваясь к ее движениям – угловатым и решительным одновременно, – он понял, что это была за дурость, которая привела его в этот дом. Желание сыграть на опережение было лишь предлогом. Это был незначимый суетный страх на поверхности сознания. В глубине, там, где копошились желания, жил другой страх – страх лишиться женского внимания. «Вот куда дьявол пробрался, – с ухмылкой произнес голос в голове Рубо. – Вот что привело тебя сюда». Среди туманных, еле различимых воспоминаний проступили ее письма и слова, тянущие из него, из его нутра давно похороненное желание – желание быть любимым. Нина накрыла стол, скромный по сравнению со столом трехлетней давности: нарезанная зелень, сыр, вареный картофель, лоскут лаваша. Сако посадил Гришу на колени и покормил его. Нина попросила Рубо рассказать что-нибудь. Рубо коротко пересказал фронтовые события, добавив в конце, что получил несерьезное ранение, из-за которого его отправили в тыл. Нина делала вид, что внимательно слушает, но в действительности, не обращая внимания на присутствие брата, заглядывала Рубо в глаза – открыто, словно испытывая его. И даже история гибели Петро, неохотно, уже без деталей рассказанная Рубо, – даже она не поколебала Нину: она не отводила взгляд, словно говорила: не отпущу тебя. И Рубо увидел это, увидел то, чего и желал, и боялся: что она жаждет, жаждет страшно; и понял, что он либо рискует, либо струсит; и под сердцем заколотила тревога, а к горлу подступила тошнота. Мир раскололся. Ему хотелось поддаться Нине, ответить на ее надежду и в то же время ему хотелось как можно скорее сбежать от Нины, сбежать, прежде нагадив. И уже к вечеру, когда Нина зажгла свечи, а бутылка наполовину опустела и Сако нервно ерзал на стуле, потому что Рубо и не думал уходить, – к вечеру наконец-то вернулась Седа. Она вернулась, как и три года назад, вместе с Амбо, только теперь Амбо шел сам, а Седа не спешила пройти к гостям. Она услышала *его* голос еще стоя в прихожей, и сердце ее тотчас сжалось. Сако обрадовался, увидев

жену и сына, но сразу же потушил в себе радость и изобразил равнодушие. Седа заметила его показное безразличие, но виду не подала – их ссорам за последние пару лет не было конца. Она тепло поздоровалась с Рубо и попросила разрешения присоединиться «к их маленькому застолью». «Хорошо выпили?» – добавила она, садясь между Рубо и Ниной. «Всего по стаканчику», – ответил Рубо. «Это видно», – сказала она, кивнув на мужа, развалившегося в углу стола. Седа оценивающе оглядела Рубо, обратив внимание на белую рубашку, и спросила, когда он вернулся. Все неловко рассмеялись. «Если что, – ответил Рубо, – я готов рассказать об этом и в третий раз». И он в третий раз рассказал историю, которая от повторения к повторению становилась все правдивее – как и всякая история. Седа, в отличие от Нины, слушала Рубо внимательно, но ее мужественное спокойствие покинуло ее, когда она узнала о смерти Петро; чувствуя, что ей трудно совладать с собой, она выпила с ними по рюмке, но лицо ее все равно дрогнуло, на глаза навернулись слезы. И тогда Нина впервые поняла, что случилось, а Сако еще острее почувствовал, что этого уже не изменить, и дети смотрели на родителей, не понимая, отчего такое выражение на их лицах, и только Рубо сидел, отвернувшись от всех и прикусив губу. Скванность, окутавшая комнату, отступила, когда Седа, вытерев слезы, бросила взгляд на рюмки и сказала мужу с внезапной нежностью: «Сако, налей еще».

Они допили бутылку, обсуждая горькую судьбу Петро и положение его несчастных родителей. Уже стемнело, Рубо собрался уходить. Сако проводил его до дверей, договорившись на завтра встретиться у Голубой мечети. Проводив Рубо, он поглядел, как Нина с Седой убрают со стола, как дети мешаются у них под ногами, и укрылся от всех в спальне. Он уселся у окна, облокотившись о деревянный стол, и раскурил сигарету. Сладковатый после водки табачный дым наполнил легкие. Он выдыхал его в форточку и, провожая взглядом, думал, где все-таки была Седа. Но ему не хватало смелости додумать эту мысль, и она сменилась другими. «А о Петро не забыл подумать?» – спросил он себя и ответил: – Забыл». Теперь он думал о Петро. Человек-жизнь, человек-движение, человек-цель. «Надо навестить его родителей», – произнес он, опустив голову. Родители. Сладкое слово. Сквозь сигаретный дым пробились воспоминание. Ему семь или восемь лет. Отец – невысокий, крепкий, энергичный, с глазами, вечно полными горечи, – берет в дорогу свежую гату и круто посоленную краюху матнакаша, набирает воды во флягу, гладит дочь по голове, обещая скоро вернуться, сажает сына на ишака и отправляется в город. Всю многочасовую дорогу он рассказывал ему историю: о черной церкви, в честь которой назвали соседний город<sup>17</sup>, о бедолаге Несо, которого привязали к столбу за воровство<sup>18</sup>. «Старый дурак, рассказываю тебе то, что другие расскажут лучше», – проронил отец. Отец. Горожанин поневоле и крестьянин по духу. Родился в оковах, чтобы обрести свободу. Он шел, поглаживая осла по голове, спрятав другую руку за спину. В туфлях, изношенных до дыр, в бесформенном свитере поверх рубахи он выглядел как пастух, чабан, но Сако знал, что отец – самый чувствительный человек в округе. Он не знал никого, кто бы настолько дорожил своей независимостью. Кто был бы так предан вере в рай на земле. В расцвете сил, в годы оттепели, когда над империей пробились обманчивые лучи солнца, отец оставил должность на химзаводе с гарантированной жилплощадью и спустился в близлежащую деревню: учить крестьян грамоте. «Слишком внимательно читал Маркса», – говорили одни. «Ему никто не дает», – потешались другие. А третьи – товарищи по Политеху – кричали в спину: «Куда ты, дурак, собрался?» – «Буду учить крестьян письму и чтению», – отвечал он. Ему не верили. Смеялись вслед. А он не шутил. Он мечтал, чтобы каждый ребенок на армянской земле прочитал Туманяна<sup>19</sup>. «Как можно спокойно дышать, когда есть на земле дети,

<sup>17</sup> Прежнее название города Ванадзор – Караклис (в переводе с турецкого – черная церковь). Город имел такое название из-за церкви из черного камня. Его переименовали в Кировакан в 1935 г. после убийства Кирова, а в 1993 г. – в Ванадзор.

<sup>18</sup> Отсылка к рассказу Ованеса Туманяна «Мой друг Несо» (1914).

<sup>19</sup> Ованес Туманян (1869–1923) – армянский поэт, писатель, переводчик, литературный и общественный деятель. Национальный поэт Армении. Несмотря на канонизированный статус поэта в СССР, трое его сыновей были репрессированы

не умеющие читать?» Он отнесся к своей миссии всерьез: женился на безграмотной деревенской девке, молча сносил недоверие соседей, изо всех сил старался влюбить в себя босых детишек. Мирился с неиссякающим презрением мужиков. Прощал детям их нежелание учиться. Терпел измены глупой жены. За сорок лет деревня превратила его в изгоя, в местного дурачка. Босые дети, так и не узнавшие, какой свет исходит от поэзии, показывали на него нематыми пальцами, перебивали ругательствами, лужгали семечки на уроках. А он тихо, упорно, не поддаваясь сомнениям, следовал своему призванию. Сорок проклятых лет. За сорок лет он влюбил в поэзию, в чудо армянского языка, в речь, в которую, как говорил он, сам Господь вложил свое дыхание, только двух детей во всей деревне – своих родных. Они были его победой. Они разделяли с ним радость от Чаренца. Они стали выражением отцовской веры в нестигаемость человеческой воли. И теперь, сорок лет спустя, он вез сына в городскую школу. Будто говорил миру: я прошел круг жизни; отдал чужим людям все свое время, все свои силы. Я не жил для себя, я жил для земли, для людей. Сохранит ли это людская молва? Это не важно. Важно, что сорок лет спустя, под солнцепеком, мимо гор, по пыльной тропе, с мешочком, где лежали гата и краюха хлеба, шли отец и сын, шли из деревни обратно в город. «Ба-а-а... – прогудел отец себе под нос, глядя на горизонт, за которым показались трубы химзавода. – Почти пришли». За этим воспоминанием к Сако привычно подступило другое. Ему десять. Лето. Каникулы. Он приехал в деревню. Вернулся с родника с двумя канистрами воды, а за воротами – людской гул, во дворе – одни взрослые. Стоят, потупив головы, с горечью взглядывают на мальчишку с канистрами. «Ослепнуть мне, бедняжка», – проронила соседка, угощавшая его сладким изюмом. Из окна раздался плач. Это была бабушка. «Где папа? – спросил Сако, а в ответ – молчание. «Где мама?!» – и снова молчание. Он бросил канистры, вскочил по лестнице на второй этаж, толкнул дверь – и увидел бабушку, сгорбившуюся над кроватью. Рядом стоял, не находя себе места, участковый. «Дядя Арам, что стряслось?!» – «Беда, Сако-джан, – ответил участковый и отвел взгляд. – Беда...» И снова раздался старухин плач. И Сако потерял дар речи. Чья-то рука коснулась его плеча, увела в соседнюю комнату, где уже лежала, съежившись от страха, его маленькая сестра. И кончилось детство. Сако потушил сигарету. «Ну вот, опять, – подумал он, почувствовав, как ком подступил к горлу. – Стоит выпить чуть больше, и вот она, тоска...»

На следующий день Сако пришел к мечети. Рубо познакомил его с Камо – высоким, полным, широкоплечим мужчиной в лакированных туфлях, с золотой цепью на запястье и золотым крестом на шее. Говорил Камо не спеша, точно вытаскивал слова из внутреннего кармана; самое важное произносил так, словно выкладывал козырную карту; в каждом движении читалось, что он обладает властью. «Ты толковый, с мозгами, – сказал он Сако, когда они шли вдоль стройки. – Будете с Рубо в паре работать. Заодно возьмем тебя архитектором. Сейчас намечается одна работенка: жилые дома в Кировакане. Для семей, пострадавших от землетрясения. Проект нужен через месяц-полтора. В сентябре приступим. Что скажешь?» Сако замаялся. Повисло неловкое молчание. Камо глядел на него выжидающе, с удивлением: о чем тут вообще думать? Подсуетился Рубо. «Насчет денег не беспокойся». Сако слегка ожил. Рубо озвучил сумму в несколько сотен долларов. Тогда Сако закивал. Они ударили по рукам. К обеду приехала секретарша Камо и выдала Сако кое-как составленный договор. Сако, к ее удивлению, поправил очки и вчитался в содержание. Нашел, что его указали инженером на полставки. «Так, постойте, – заговорил он. – Я должен быть прорабом – раз, а два – я думал, у вас своя фирма». Девушка, с башней из сплетенных волос, устало подняла брови, похлопала длинными ресницами, озадаченно поглядела на свою «хонду», припаркованную на тротуаре, и нетерпеливо ответила: «Все вопросы – к Камо». Сако не успел возразить, как она уже бежала к машине,

---

и погибли в ГУЛАГе в 1937–1938 гг. Прах одного из них – Арега Туманяна (1899–1938) – покоится в одной из общих могил на московском спецобъекте «Коммунарка».

оставив его с договором в руках. Камо и Рубо беседовали, стоя поодаль. Сако подошел к ним. «Смотрю, тебе понравилось у нас?» – спросил Камо. «Здесь указано, что меня берут инженером», – ответил Сако, подняв договор. «Можешь быть кем хочешь», – сказал Камо, добродушно улыбаясь. – Но числиться будешь инженером». Затем потрепал его плечу, извинился, кивнул Рубо – кивок, означавший уговор, – махнул им на прощание и ушел к автомобилю, за рулем которого его ожидал водитель. «Куда это он?» – спросил Сако, держа в руках помятый договор. «В Турцию», – ответил Рубо устало. – Вернется через три дня». Сако беспокойно завертел головой и захопал по нагрудному карману в поисках сигарет. «Где ты нашел этого типа?» – спросил он, закуривая. «Знакомая свела». – «Подозрительный». – «Тебе кажется». – «Давно ты его знаешь?» – «Не особо». – «Понятно», – пробубнил Сако, поглядывая на строителей. Рубо был спокоен. «По общению – человек слова», – сказал он убежденно. – Это самое важное в наши дни». – «Согласен». – «Тем не менее у тебя в заднице застряло шило, которое не дает покоя?» – «Да». – «Выкладывай». – «Кто финансирует эту стройку?» – «Я откуда знаю?» – «Но ты же здесь работаешь!» – «И что?» – «А вдруг это бюджетные деньги? – Сако обратил на друга беспокойный взгляд. Он чувствовал, что дело нечисто. – Ты уже получал зарплату?» – «Получал». – «И ты не знаешь, откуда к тебе приходят деньги? Вдруг...» – «Я и не хочу этого знать», – оборвал его Рубо. – Это меня не касается. Мое дело», – продолжил он, указав пальцем на рабочих, – чтобы эти парни пахали и не тырили цемент». Сако потер лоб. Его взгляд беспокойно блуждал по земле, по лицам рабочих, по мешкам со стройматериалами. «Извини, мне не нравится этот тип». Рубо показал ему жестом: «Остынь». Недоверие Сако постепенно выводило его из себя. «Почему тебе он не нравится?» – «Он смахивает на дельца», – ответил Сако. – «И что в этом плохого?» Что в этом плохого, Сако не знал. Но внутреннее чувство подсказывало, что что-то не так. «О чем вы с ним шепчетесь?» – «Я с ним?» – «Да». – «О работе. Дела. Поручения». Конечно, подумал Рубо, уже начались поручения не только по стройке. Уже навалились дела помимо основной работы. Но об этом Сако знать не стоит. «Вся эта стройка, – снова заговорил Сако, – выглядит как прикрытие. Прикрытие для чего-то, что от этих работяг хотят скрыть». – «С каких пор ты такой проницательный?» – «Я просто различаю запах дерьма. Невольно научился этому за годы войны и блокады». В эту секунду один из рабочих задолбил молотом по бетонной стене. «Какого черта», – процедил Рубо, подскочил к рабочему, замахнулся и приказал вернуться к котловану, дальше рыть землю. Остыв, он вернулся к Сако, все еще стоящему с помятым договором в руке. «Сако, сколько лет ты без нормальной работы? – Сако опустил взгляд. – Два года? Три? На какие деньги ты кормишь детей?» – Рубо хотел добавить: детей, ради которых ты не пошел на фронт. Сако стоял перед ним словно провинившийся. Он проводил взглядом пепел, посыпавшийся на землю с сигареты. «Я даю тебе работу, гарантированную зарплату. – Он потер большим и указательным пальцем перед носом Сако. – Тебе даже толком работать не придется, а бабки будут. Что тут вообще обсуждать?» – «Не знаю». – «Какая тогда к черту разница, делец Камо или не делец?» – «Понимаешь, я... – Сако долго подбирал слова. В конце концов он рассказал историю об электростанции в подвале дома. Историю, как он остался в дураках. «Если Седа узнает, что я снова ввязался в аферу...» – «Какая афера?» Рубо тяжело вздохнул. «Сако-джан, я хочу тебе помочь», – сказал он, подавляя гнев. – Прошу тебя, будь мужиком и прими решение. Обсуди с Седой, если не можешь сам. И ответь мне. Если да, то да. Если нет, значит, нет. Я не обижусь, ты знаешь».

По пути домой Сако убеждал себя, что не задержится на этой работе. «Пусть провалятся под землю, – выпалил он, – но я не буду с ними работать. У меня есть достоинство. Лучше дальше подметать улицы, чем быть причастным к беззаконию. Моя честь не продается. Нет счастья, но есть покой. Есть моя воля». Так он рассуждал сам с собой, со страстью и пафосом. Ему хотелось знака свыше о том, что правда на его стороне. Но знаков не было. Была тишина. И безлюдье. Улицы с обрубками вместо деревьев. Ереван был выжженной землей. «Чем громче слова, – шептал ему внутренний голос, – тем меньше уверенности в душе».

Показалась старая арка. Горло сдавило. Впереди ждал разговор с Седой. Он не может не рассказать ей. Но к чему он придет? Будет ли это его выбор? «Я должен показать ей, что я – мужчина». Чем ближе он подходил к дому, тем меньше его заботила сама работа и тем больше волновало, чтобы решение – соглашаться или нет – осталось за ним, а не за женой. Он вспомнил взгляд Рубо, глаза, полные презрения холостяка. Показалось? Нет. Волчий взгляд. Взгляд одиночки. Этот взгляд и подкидывал хвороста в костер. Подталкивал Сако проявить решимость, которой он был обделен.

Седа была дома, но собиралась выходить. Стояла перед зеркалом, в джинсах, жакете и белой футболке, с волосами, собранными в пучок. Взгляд – умный и сосредоточенный. Она наводила красоту. Подчеркивала карандашом контуры губ, бровей, акцентировала уголки глаз. Но все – в меру, зная себе цену. Улыбнулась, глянув на косметичку и стопку книг перед зеркалом. Наверху стопки – сборник стихов Байрона и «Поэтика» Аристотеля. Ей нравился мир, в который она возвращалась после пустоты военных лет. Мир оживал. С новой силой пробуждалась жажда жизни. Заскрипела дверь. Стук снимаемой обуви. Шуршание куртки. Его фигура в отражении зеркала. Седа вопросительно взглянула на мужа. Сако вошел в спальню, присел на край кровати. «Что-то произошло?» Сако рассказал о встрече с Камо и Рубо. Седа поняла: нужно уделить Сако внимание. Она подвинула стул, села перед ним. Выслушала и спокойно уточнила: «А в чем именно проблема?» Сако не сразу ответил. Он заметил, что она накрасила ногти, впервые за долгое время. Это удивило его. «Сако?» – спросила она, заглядывая ему в глаза. Он очнулся. С растерянным лицом рассказал о своих подозрениях: мошенники, липовый договор, деньги налогоплательщиков. «Могут кинуть в любую минуту, – попытожил он. – Я вижу это по его физиономии». Седа спросила, над чем они работают. Он ответил: «Под снос попал жилой дом времен Демерчяна<sup>20</sup>. Вместо него строят безвкусицу типа бизнес-центра». С секунду помолчав, он резюмировал: «Эклектичное говно». – «Понятно, – сказала Седа и приблизила к нему лицо. – Ты не хочешь в этом участвовать, так? Считаешь эту работу низкой и недостойной?» Сако охотно закивал. Но Седа только собиралась задать самый важный вопрос: «И все же что-то не дает тебе покоя, да?» Сако отвел взгляд. «Скажешь?» – спросила она. Сако медлил. Обратил внимание, что она посматривает на часы. И ее накрашенные ногти... «Новый проект, в котором я могу принять участие, если соглашусь... Это жилые дома для семей, пострадавших от землетрясения. Ванадзор, затем Спитак...» Седа одобрительно кивала. «Но мне кажется, – продолжал Сако, – они как-то используют деньги, которые идут из бюджета. Вместо трех зданий для пострадавших построят только одно, оставшиеся деньги вложат в какую-нибудь безвкусицу в центре Еревана, а остаток, видимо, прикарманят, понимаешь?» – «А что Рубо говорит?» – «Рубо говорит, что с деньгами все в порядке, платят нормально, но откуда у них столько денег?» – «Сколько?» – уточнила Седа. Сако ответил. Седа слабо охнула, откинулась назад. Ее удивило услышанное. «Это правда?» – уточнила она. «Рубо говорит, что ему платят, причем вовремя. Но долго ли это будет продолжаться, я не знаю...» Седа склонила голову, ее взгляд застыл. «Откуда у них такие деньги?» – «Так я о том же. Я не верю ничему, что там творится. И не хочу, чтобы ты потом говорила, что я ввязался во что-то, тебя не предупредив. – Поколебавшись, Сако добавил: – Я получаю кое-какие деньги, и этих денег, в общем-то...» – «Сако, подожди», – прервала его Седа. Вот тут он промахнулся. Его нынешняя работа – последнее, о чем она хотела вспоминать. С такой работой у нее не хватало денег даже на молоко. С такой работой она могла только виновато смотреть в глаза окружающим. Уже третий год они жили на зарплату Нины и подачки Мисака. Кровь прилила Седе к лицу. Довольно. Она впиалась взглядом в Сако. «У человека должна быть совесть, – сказала она тоном, не допускающим

<sup>20</sup> Карен Демерчян (1932–1999) – первый секретарь ЦК КП Армении (1974–1988). Принимал активное участие в политической жизни во второй половине 1990-х гг.

возражений. – И гордость. Есть правила достойной жизни, Сако. Есть границы дозволенного». Сако втянул голову в плечи. Давление усиливалось. «Сколько лет мы живем на зарплату твоей сестры?» Сако понял: еще один шаг, толчок, удар – и он проиграл. Он ответил: «Седа, я все понимаю. Я согласен. Но ты пойми: там творится черт-те что... – Он снова заговорил о недоверии к Камо. – Мой нюх меня не обманывает. Это тебе не какая-нибудь подпольная электростанция». Седа взяла себя в руки. Если они затеют ссору, она никуда не успеет. День пойдет насмарку. Нужно зайти с другой стороны. Ее взгляд оживился. «А если, – начала она, осторожно подбирая слова, – а если какое-то время поработать? Скажем, полгода. Просто подкопить денег. Облегчить жизнь нам, твоей сестре». – «Ну, предположим», – ответил Сако, хмуря брови. «Только какое-то время. Что скажешь?» – «Ну, может, месяц или полтора». Седа усмехнулась. «Хотя бы полгода, Сако. Или год». – «Но Седа...» Но у Седы заканчивалось терпение. Она бросила взгляд на часы: уже опаздывает; очередной семинар у профессора начнется без нее. В глазах промелькнуло недовольство. Ей не хотелось напоминать ему, но выбора не осталось. «Сако, – заговорила она, выпрямляя спину и поднимаясь, – ты же не забыл, что у нас накопились долги? Ануш, Мисаку?» – «Не забыл», – ответил Сако. «Не забыл, что я почти каждый день вынуждена смотреть людям в глаза? Улыбаться им, по возможности избегать разговоров?» – «Не забыл». – «Что мне не всегда удается избежать разговоров и приходится снова обещать им, что мы отдадим долги?» Сако сдался. Мрачно покачал головой. Седа уже сунула Байрона и Аристотеля в сумку. Снова повернулась к Сако. Ее взгляд говорил, что она ждет от него согласия. «Хорошо, Седа, – сказал он. – Я согласен». – «Согласия мало, Сако. Нужно еще понимание». – «Я понимаю, Седа». Эта победа – очередная – досталась Седе почти без борьбы. Довольная, она направилась к дверям, но тотчас ее уколола жалость к нему – жалость, подменившая прежнюю нежность. Прощаясь, Седа снисходительно добавила: «Кроме того, подумай о том, что это твой шанс вернуться в архитектуру. Один из немногих». Сако изумился, точно он впервые всерьез задумался о том, что ему действительно предстоит вернуться к архитектуре. Он сжал губы, кивнул и запер за женой дверь.

Утром Сако отвел Гришу в детский сад, подошел к директорисе и сообщил, что увольняется. Та безразлично пожала плечами. Сако покинул ее кабинет. Глядя на сына, который уже ревел с детьми в игровой комнате, он подумал об архитектуре. Последние пару лет он почти не вспоминал о ней. Изредка задавал себе вопрос, была ли архитектура его призванием, и не мог ответить. Еще реже он вспоминал о том холодном декабрьском дне, когда он, окрыленный, словно подхваченный ангелами, несся в сторону дома, чтобы зажечь новой, свободной от тревог жизнью – жизнью, в сердцевине которой было бы не его проклятое «я» или те занятия, за которыми его «я» пряталось от правды, а его семья: жена, дети, сестра, – но затем он столкнулся с грубой действительностью, с бытовыми проблемами, разом свалившимися на него, и снова потерял путь к свету, заблудившись в колючих зарослях. Отыскивая правду, он отошел от всех дел и забот и стал подметать улицы. Тайком от Седы. Отломился от семьи. Разрывался между желанием и долгом. Телом был мужем и родителем, а душой – монахом и странником. А в глазах окружающих – местным дурачком, который стоял с метлой во дворе детского сада, с улыбкой присматривая за детьми. Но ему было все равно. Работать дворником было не почетно, но была в этом какая-то новая свобода, которой он не знал раньше. Не свобода от чего-либо конкретного, а свобода сама по себе, свобода как она есть, свобода как воздух. Так незаметно пролетели два года. Теперь ему предстояло заново вернуться к делу, которому он посвятил свою молодость.

Сако отправился на стройку. По пути размышлял, что его ожидает. Деньги? Лицо этого дельца? Память о том, что он согласился на эту работу под давлением Седы? Сако пребывал в растерянности. Как ему снова обрести внутренний огонь? Как не потерять свободу? Доносились шум перфоратора и голоса рабочих. Показалась коренастая фигура Рубо, который развалился на своем стуле-троне, сложив руки на коленях. Сако позабыл о своих тревогах. «Какой

нормальный человек будет так сидеть?» – весело подумал он и подошел к Рубо, пожал ему руку. Сознание, что они будут работать вместе, немного утешило. Словно слегка потускнела память о смерти Петро. «А может, – подумал он, – с деньгами придет спокойствие и можно будет полностью сосредоточиться на архитектуре?» Но в первый же рабочий день на Сако обрушился град насмешек. Все из-за оранжевого пиджака. Рабочие беззлобно высмеяли его. Они-то стояли в грязных, рваных комбинезонах. А этот, посмотрите-ка на него, вырядился, как Чарли Чаплин. Сако отмахивался. Беспомощно отшучивался: «Я свой, я один из вас!» Но классовая разница сказывалась. Пиджак был слишком яркий. Рубо развел руками. «А что ты хотел? – спросил он. – У мужиков своя правда, а у интеллигентов вроде тебя своя. – Но затем добавил: – Все равно я рад, что ты согласился. Не пожалеешь». Сако усмехнулся и опустился на раскладной стул рядом с ним. «Горы свернем?» – «Эти горы никто не свернет», – ответил Рубо.

В обед на стройплощадку приехала «делегация инвесторов», как их представил Рубо. Два чиновника в серых костюмах и цветастых галстуках и иностранец в летних брюках и рубашке поло. Их сопровождала невысокая переводчица в очках с толстой оправой. Сако узнал ее. Это была Мане, переводчица с фарси из Института переводов. Он окликнул ее, когда она освободилась, и спросил, как дела, как поживает институт. Она быстро ответила, что оставила художественный перевод. «Ничего страшного, – подбодрил ее Сако, – в будущем можно будет вернуться». Девушка горько рассмеялась: она на это не рассчитывала. «Я уволилась из института, – произнесла она безразлично. – Надеюсь, навсегда». Сако посмотрел на нее с грустью. Остаток дня он размышлял, произойдет ли с ним подобное превращение. «Не совершаешь ли ты ошибку? – спрашивал внутренний голос. – Не растрачиваешь ли попусту свою жизнь?»

Вечером, поддавшись меланхолии, он поплелся, спрятав руки в карманы, по людному проспекту Маштоца; затем, дойдя до Оперы, свернул на улицу Туманяна и остановился на перекрестке у кинотеатра «Москва». Важное для него место: сюда он повел сестру, когда окончательно забрал ее в Ереван; здесь, в летнем зале, он коротал вечера с Петро и Рубо; здесь его сердце однажды дрогнуло перед Седой. Когда они еще были студентами, он узнал от нее историю этого кинотеатра: раньше тут стояла самая старая ереванская церковь, церковь Погос-Петроса, Святых апостолов Павла и Петра. Сако, не сказав ничего Седе, посетил Музей города, находившийся тогда в мечети на Маштоца, и спросил у сотрудницы, что можно узнать об исчезнувшей церкви. Сотрудница и опешила от внезапного вопроса, и обрадовалась ему. Она показала молодому человеку с непослушными кудрями черно-белые фотографии довольно простой по архитектуре церкви. «Пятый-шестой век, строгие формы, едва заметное византийское влияние», – объясняла она и следом рассказала, что творец нового Еревана, Александр Таманян, боролся за сохранение церкви, но в начале тридцатых ее все-таки снесли. «Так устроена архитектура, – прибавила сотрудница. – Уничтожает старое, чтобы возвести на его месте новое. Раньше люди нуждались в церкви, теперь – в кинотеатре». Во время сноса под штукатуркой церковных стен обнаружили фрески в несколько слоев – их и железную дверь удалось спасти, попрятав в разных музеях страны. «Что-то все-таки сохранилось, – подытожила сотрудница. – Какая-то материальная память осталась». Сако отвлекся от воспоминаний. Поглядел на детей, идущих со стаканчиками мороженого, и заметил через дорогу группу молодых людей, вывалившихся на улицу из соседнего с кинотеатром здания, Союза художников. Об этом здании он тоже тогда разузнал и спустя несколько дней после посещения музея уже он рассказывал Седе, что раньше там были персидский квартал и мечеть, и от них ничего, кроме памяти, не осталось; он же рассказал ей, что на месте Театра Станиславского, напротив кинотеатра, стояла русская церковь, от которой тоже ничего, кроме памяти, не осталось. «Я все больше убеждаюсь, – ответила тогда со свойственным ей высокомерием Седа, – что память – это неутрачиваемая боль».

Сако вернулся домой. Поужинал в тишине с сестрой и детьми и уединился в спальне, заменявшей ему кабинет. Решил, что ответ на вопрос – есть смысл в архитектуре или нет –

будет найден очень просто: он вернется к проектам, которые когда-то мечтал воплотить в жизнь, но не завершил. Сако достал из-под рабочего стола запылившуюся коробку, разложил перед собой самый важный, самый любимый проект – черновик Музея Комитаса – и долго, часа полтора, блуждал взглядом по рисункам, комментариям, подсчетам. Но так и не смог погрузиться в колодец души этого музея. Он не сумел вспомнить, почему этот проект когда-то так взволновал его. Он свернул старые листы и отправил их обратно в коробку.

Прошел день, второй, третий. Сако просыпался и заново задавал себе вопрос: «Почему мне было так важно построить в Ереване Музей Комитаса?» Ответа не было. Словно этот вопрос возвел в его сознании бетонную стену, которую Сако не мог ни обойти, ни перелезть, ни разбить, в которую он мог только уткнуться лбом и гадать, что находится за ней.

Зато он с удовольствием отвлекался: созерцал двор, выкуривал с десяток сигарет, насвистывал песни, играл на гитаре, рассеянно листал книги, помогал детям с уроками: обучал Гришу арифметике и читал с ним Гофмана и Туманяна, а с Амбо корпел над английским и бегал к соседям смотреть отборочный турнир чемпионата Европы. Его беззаботное времяпрепровождение, побег неудачника от действительности, прерывали вопросы сестры, жены, друзей: «Как продвигается проект?» – «Никак», – следовало ему ответить, но он говорил: «В процессе». Стоило ему вернуться за стол и взглянуть на исчерченные листы, напоминавшие ему о былом движении его ума и рук, он цепенел.

В эти дни ему часто снился отец: живой, здоровый, сильный. Стоял перед ним в окружении любимых платановых деревьев, за которыми он ухаживал с не меньшей любовью, чем за детьми, и говорил: «Вот это настоящее, сынок. Вот это не исчезнет». Затем отец переносился в его ереванскую комнату, сидел за его рабочим столом с шеей, крепко обмотанной шарфом, смотрел на сына, лежавшего в постели, и пел ему колыбельную. Но Сако не слышал слов. То ли он оглох, то ли отец, такой живой, такой сильный, издавал мычание вместо слов. Сако лежал под одеялом, смотрел на отца, сидевшего на его месте, и мучился оттого, что не слышал колыбельной.

Спустя неделю Сако достал с антресолей альбом с фотографиями. Нашел карточку, на которой они с Петро стояли, по-братски обнявшись за плечи, на фоне гор неподалеку от монастыря Гехард. Лицо Сако озарилось улыбкой. Он вложил фотографию в деревянную рамку и поставил в углу стола. Воспоминания о словах и поступках друга переплетались с настоящим. Тень Петро брала его за руку, вводила в воображении к Рубо и говорила: «С ним будь. Его обереги». Сако достал чистые листы. Сопровождаемый тенью Петро, он осторожно приступил к чертежам новых жилых домов. «Три здания, три многоэтажки, три дома, – проносилось в пробудившемся уме. – Три брата. Все разной высоты: самый низкий – впереди, справа от него – чуть повыше, а позади них, но между ними – самый высокий. Все невидимо связаны, образуют целостность». Он проработал над проектом всю ночь, отдавшись разгоравшемуся внутри огню. Седа все еще спала, когда он оторвал взгляд от свежих чертежей и с радостью осознал: к нему вернулось понимание, почему он когда-то связал себя с архитектурой, с искусством. Это было чудо. Желание творить вернулось к нему. И мир показался таким покладистым, верным. Сако смотрел на фотографию Петро, но не так, как раньше, с какой-то неестественной болью, с искусственным желанием скорбеть, а по-новому: он был благодарен, точно воскресла подлинная дружба, та самая идея дружбы, которая несла в себе печать чего-то неземного, божественного. «Ты возвращаешь меня к жизни», – сказал Сако мертвецу с фотографии. Сако склонил голову над листами. Силы кончались, но ум еще работал. «Осталось самое важное, – говорил он себе, – соблюсти изначальную гармонию». Теперь он понимал: опираясь на чувство долга, которое внезапно вспыхнуло в нем, когда он погрузился в новый проект, он доведет начатое до конца. «Но для этого нужна самодисциплина, – внезапно произнес голос, – только так у тебя получится». И с этой мыслью Сако лег спать.

От работы отвлекали близкие. Сако переживал из-за Рубо, подмечая неладное в его поведении. Особенно в присутствии Камо. Начальника стройки и Рубо связывала какая-то тайна, в которую они не посвящали посторонних. Сако часто приходил к мечети не в свою смену, а Рубо не было. Он мог уехать на целый день и вернуться только под вечер, молчаливый, неприступный, словно проделал грязную работу и искал одиночества. Выглядел как солдат, который так и не покинул фронта: в глазах – чувство вины, на руках – невидимая кровь. В подобные дни он держался от Сако подальше. Словно говорил ему: не переступай черту, это не для слабой души. Это территория мужчин, а не интеллигентов. Затем молча уезжал в свой Арабкир. Мог не выйти на работу на следующий день. Мог запропасть на неделю, и потом явиться как ни в чем не бывало. И никто не упрекал его. Сако замечал это не раз. Тревога за друга усиливалась, смешиваясь с завистью, беспокойство было отравлено обидой. Это напоминало школьные годы. Мальчишки делились на тех, кому можно нарушать правила, и тех, кому лучше оставаться паиньками, тех, на кого заглядывались девочки, и изгоев. Сако был из числа последних, но тянуло его к первым. Судьба одарила его проклятием – быть не в меру наивным. Простодушным. У каждого свой крест, и крестом Сако была его обостренная восприимчивость. Детская ранимость. «Тебе бы в миссионеры, а не в архитекторы», – говорил ему Петро. «Не повезло родиться в СССР», – отвечал ему Сако. Ранимость, наивность, простодушие были чрезмерны в нем с детства. Он страдал от них и в школе, и в университете: когда впервые влюбился и дрожал от страха, что потеряет предмет своей любви; когда впервые обрел друзей и вслух пообещал быть лучшим в дружбе. «Ибо дружба, – говорил он, сжимая в кулаке рюмку, – это не договор и взаимные интересы. Дружба – это долг, честь, обязанность». Так он думал тогда, сидя с друзьями за столом, так думал и сейчас, сидя в одиночестве. Но он даже не догадывался тогда, что есть вещи, о которых нельзя говорить вслух, о которых следует молчать. Что дружба не в высокопарных словах, произнесенных за рюмкой водки, а в молчании, осторожно оберегаемом, как пламя свечи. И теперь ему, тридцатилетнему простаку, хотелось выяснить, что творится с его старым другом. Он не сомневался, что Камо каким-то образом использует Рубо. Но не знал, как подступиться к этой теме. Может, боялся. Может, уже втянулся в работу и держался за иллюзорный покой. Ему оставалось лишь гадать: «То ли война нанесла Рубо неизлечимую рану, то ли этот делец подталкивает его к могиле».

В доме Сако Рубо становился прежним товарищем, прежним другом. Иногда они вместе возвращались, гуляя, от стройки к дому на Абовяна, а иногда Рубо сам, не предупредив, навещался в гости. Они садились на просторном балконе, созерцая шумный двор, и в свете закатного июньского солнца играли в нарды, попивая тутовку, присланную отцом Седа. Накрепко запертая дверь внутреннего мира Рубо ненадолго отворялась, и Сако смутно чувствовал, что нет настоящего, есть только вечно наступающее прошлое. Наивный, простодушный, рассеянный, он не понимал причин, по которым ежевечернее присутствие друга, бывало, растягивалось на часы. Не обращал внимания на то, что Рубо засиживался у них, дожидаясь, пока придет Нина. Не замечал, что только с ее приходом он по-настоящему пробуждался, проявлял ко всему интерес. Не видел, что его сестра отвечала Рубо взаимностью, подавляя страх, борясь с влечением, которое пока еще казалось ей липкой тенью прошлого, и подсаживалась к ним, интересуясь их игрой, разговорами, настроением, и смотрела на Рубо. Нина воскрешала в памяти его слова, намеки, обещания, заново переживала их, и лицо ее покрывалось румянцем, а глаза становились по-детски простодушными, поскольку ее мысли заново растворялись в надеждах и мечтаниях. Но ее мечтания пресекала Седа. Она создавала границу, линию, которую эта мечтательная пошлость не должна была пересекать. В ее присутствии и Рубо, и Нина чувствовали себя лишними, отвергнутыми, незначительными. Им казалось, что Седа владеет искусством невидимых знаков, что любое ее движение – отсесть от них, деловито шепнуть что-то Амбо, переставить безделушку со стола на полку, – выражало нежелание находиться с ними рядом. Однажды Рубо спросил у Сако, кто эти люди на фотографии, и Седа вмешалась в их

разговор и со слишком вежливой улыбкой ответила: «Человек слева – мой прадед, а справа – как же ты не знаешь?! – Ованес Абемян<sup>21</sup>». То, что Седе казалось вежливостью, для Нины было выражением презрения, а для Рубо – плевком. Он поднимался, прощался, молча уходил. Обещал себе, что больше не вернется. Но возвращался, ведь даже он – солдат, беглец, сирота – был зависим от перебоев сердца. Две сущности сталкивались и боролись в нем: одна желала стать частью семьи Сако, обрести счастье с Ниной, а вторая, задетая высокомерием Седе, задыхалась от ненависти к себе, слепо металась и искала самоистязаний.

А Седе даже в голову не приходило, что она кого-то обижает. Она не оскорбляла Рубо намеренно. То, что в одном кругу было язвительностью, в другом считалось остроумием. В те июньские дни Седу занимало другое. В ней стремительно возрождалось, отбрасывая все лишнее на своем пути, чувство, что она принадлежит другому миру, что ее жизнь могла – да кого она обманывает? – должна была сложиться иначе. Она ощущала это особенно остро сейчас, когда, уложив детей, стояла, обнаженная, готовясь ко сну, и глядела на открытку с обломками Берлинской стены и дружеским посланием на обратной стороне: «Дорогой Седе. С наилучшими пожеланиями из Берлина. Манвел». Тоже армянская судьба: собрался в монастырь, а очутился в Берлине; один из друзей, эмигрантов перестроечных лет, позвал его к себе, и он, ничего не сказав ей, уехал; подробности она узнала потом от профессора. Седу тоже потянуло туда – в Берлин, в Германию, в Европу. Ее душила мысль, что с долгожданными политическими переменами не изменилось ничего. Она так же, как и четыре или пять лет назад, не могла никуда выехать. Но если раньше дело было в политических границах, то теперь в деньгах. За спиной раздался голос Сако. Седа набросила на себя халат, но притворилась, что не слышала мужа. «Где ты была?» – повторил он. «В школе задержалась, – ответила она, пряча открытку между страницами книги. – Разговорила с директрисой об Амбо». – «О чем?» – «О его успеваемости». – «Четыре часа?» – «Потом навестила профессора, – ответила она невозмутимым голосом. – Обсуждали диссертацию». Это было правдой. Она была в гостях у профессора Тер-Матевосяна. После пятилетней паузы возобновились встречи их филологического кружка, хотя былой мистики встреч, как в советские годы, уже не было. Проклинаемое прошлое превратилось в *belle époque*

---

<sup>21</sup> Ованес Абемян (1865–1936) – известный армянский театральный актер первой половины XX века.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.